

Роман

Сейсенбаев



НОЧНЫЕ ГОЛОСА

Роман

(книга, написанная Айдаром Курмановым)

РАССКАЗ ДРУГА

Ему снился чудный сон, и в этом нет ничего удивительного, ибо каждый видит такие сны, каждый, улыбаясь, вспоминает о них, каждый томится и радуется, лишь придет к нему весть из далекой нежной юности.

Итак, это был сон, чудесный, волшебный сон. Гвардии ефрейтору Шигинсызу Ерболсынову снова семнадцать лет, и он бежит по изумрудному лугу, жадно и радостно вдыхая воздух полей своей обильной родины. Да что там бежит! Легко оторвавшись от земли, он ныряет в пенную, кипящую белыми бурунами реку. «О, Иртыш, мой Иртыш, я часто думал о тебе, милый моему сердцу, быстрый, шумный, темноводный Иртыш... Йа Алла, говорил я, удастся ли мне возвратиться на широкий твой простор, смогу ли я окунуться в твои ласковые воды, сброшу ли я на твоём берегу свою постылую напитавшуюся потом гимнастерку?» И вот он перед ним, его Иртыш, – два тополя на крутом обрыве, два тополя, упирающиеся в небо своими макушками. Два тополя, и их двое. «Я не один, я не один. Но кто рядом со мной? Кто рядом со мной? Кто? – шептал он, – Кто же это?» И даже тогда, когда девичьи губы коснулись его воспаленного жаждущего рта, даже тогда, когда он пристально, трепетно, невинно глядел на это ангельское создание, он до конца еще ничего не мог понять. «Кто рядом со мной? Кто это? Кто?»

«Кто же это?»

Ему – семнадцать, ей – шестнадцать. Шестнадцатилетняя, прекрасная, она своими нежными руками обвивает крепкую шею джигита: в сладком затяжном поцелуе расслабилось тело, и все крепче обнимаются они, семнадцатилетний и шестнадцатилетняя, и он никогда не закончится, этот волшебный поцелуй. Косы, черные длинные косы с запахом степного солнца – он не узнаёт ее, – юное тело, пахнущее степной полынью, – он не узнаёт ее, – он поворачивает голову и целует ее в мягкие губы, и губы пахнут свежестью степного летнего озера,



и запахи эти кружат, дразнят, будоражат... Она! Она! Она!.. Не выпускай же ее теперь из своих объятий, крепче, крепче обними ее, обними ее, целуй и моли Аллаха, чтобы он пожалел тебя и помог тебе, вернул тебе любовь твою и молодость твою, молись, Шигинсыз! Какое чистое небо! Какой справедливый мир раскинулся вокруг! И – она! Только не выпускай ее теперь из своих объятий. Целуй ее, как тогда, тридцать три года назад, тридцать три года... Обнимай ее, шестнадцатилетнюю, как тогда, тридцать три года назад, и да пусть поддержит тебя сила твоя и смелость твоя, как тогда, тридцать три года назад, когда тебе было семнадцать, а ей шестнадцать и вы любили друг друга. И вы любили друг друга, и мчались по темному звездному небу, и яркие крупные звезды ласково улыбались, подмигивали вам, радовались за вас. Какая ночь и какое небо! «Мать-природа, пусть будет по-твоему, мы не станем завидовать тебе, презирать тебя, мы склонимся перед твоей силой. Но и ты не завидуй нам, не презирай, не ревнуй нас к нашему счастью – сбереги нас, сохрани нас, помоги нам! Помоги-и-и! Ведь ты всемогуща, ты все можешь, все в твоих силах – человек слаб, и его разум склоняется перед твоей тайной силой...» Тридцать три года назад плыли звезды и летели два лебедя по черному небу, и, о боже, как сливались тогда души... Шестнадцатилетняя и семнадцатилетний, тридцать три года назад! Шестнадцатилетняя и семнадцатилетний. Адам и Ева. Наверное, они еще никогда не испытывали такой вот безмятежной свободы, такой бескорыстной доброты и такого безумного счастья. «О, мать-природа, айналайын – люблю тебя, склоняюсь перед тобой, – долго проклинал тебя, и это правда, и это правда, и это правда, но теперь я беру все свои гневные слова обратно, и я не буду мстить тебе, не буду соперничать с тобой, наоборот – я склоняюсь перед тобой, отныне всю свою жизнь я буду преклоняться перед тобой».

Но взбунтовалось вдруг иссиня-черное небо – то ли гневало на шестнадцатилетнюю и семнадцатилетнего, безмятежно предавшихся ласкам, то ли не верило, что исхудавший человек каждой клеточкой своего больного израненного тела тридцать три года ожидал этой встречи, то ли просто сама мать-природа спасовала перед мирской суетой, обманом и подлостью, – он лихорадочно думал об этом и ничего не мог понять, – а может, мать-природа не хотела обманывать человека, ибо самый великий грех на земле не убийство, а обман, мираж, когда человек слепо верит во что-то и, закрыв глаза, стремится неизвестно куда? Но и тут не права мать-природа, ведь, утешая себя, надеясь, мечтая, выжил человек на этой земле. Святая ложь всегда облегчала жизнь людей, и об этом всегда знали люди. Так что не будем винить мать-природу, ведь человек живет на земле между виной и грехом – не будем забывать об этом...

Взбунтовалось иссиня-черное небо – загремел гром, засверкали молнии. Яркий и синий огонь вырвал из объятий юноши шестнадцатилетнюю, и она исчезла, растворилась в грозовом небе. Плача и рыдая, обожженный и ослепший от вспышек молний, оглохший от шума бури, он мчался за ней. Он искал ее и плакал горькими слезами, и слезы те пролились на землю ураганным дождем... Плача и рыдая, он искал ее, но уже не было ее в горных высях, и он плавно, устало стал опускаться все ниже и ниже. Осталось позади иссиня-черное небо и звезды, а ее все нет и нет – вот уж и земля видна: силуэты высоких гор, очертания извилистых рек, темные блестящие пятна озер, а ее все нет и нет. И тогда семнадцатилетний, собрав остатки сил, вновь ринулся в высоту, ибо был ему голос: «Ты – человек

и ты не должен сдаваться! Собери в кулак всю свою волю, все свое мужество, человек. Ведь ты – ЧЕЛОВЕК, и ты не должен потерять ее! Найди ее, защити ее, береги ее!» И семнадцатилетний легко вознес свое тело, скользя, паря между светом и тьмой, и вдруг он увидел ее – на пушистом белом облаке лежала она, и тело ее, манящее юное тело, фосфоресцировало под светом ночных звезд. Но ее прекрасное, утонченное лицо вдруг уплыло от него. Миг, только миг видел он ее глаза, черные, влажные, скорбные, миг – и тотчас страшная плеть молнии обрушилась на него. Черное, обгоревшее, безжизненное тело камнем падало вниз, тело, которое только сейчас свободно и радостно парило в небе, рухнуло на землю и обратилось в черный скорбный камень...

– О, Алла, о, Алла! – Шигинсыз очнулся и, вытерев взмокший лоб, огляделся по сторонам.

Комната. Окно. Телевизор. Шкаф. Стол. Кровать. Тумбочка. Книга. Очки. Ни легких воздушных облаков, ни ярких звезд, ни белых нежных рук, которые только что обнимали его, – ничего этого нет. Все та же постылая комната, все та же постылая кровать, на которой вот уже который год лежит с раздробленным позвоночником он, Шигинсыз Ерболсынов.

От злости и отчаяния он принялся колотить руками по железной спинке кровати, но потом затих, успокоился, долго смотрел в окно на синее небо. Небо, и только небо, кусочек синего неба, это все, что мог увидеть Шигинсыз в свое окно: ни домов, ни прохожих, ни дымоходных труб – небо, только небо, кусочек синего неба. Редкие гости ходят к нему, а в последнее время и сестра Жамал что-то стала плохо слышать, старость подходит, за семьдесят уже старушке. Громко ему что-нибудь объясняет, горячится. «Видно, чем больше теряется у человека слух, тем громче говорит он. Наверное, оттого, что сам ничего не слышит», – так понял Шигинсыз.

Иногда со стороны порта доносились пароходные гудки, иногда слышны были голоса грузчиков, и это все, чем радовал Шигинсыза внешний мир. Да и что видел он в жизни? Речной порт, где он несколько месяцев успел поработать грузчиком, да войну, которая началась тридцать три года назад и которую он, простой пехотинец, вел с проклятым Гитлером до того самого дня, когда взрывной волной швырнуло его на скалы, до того дня, когда в том, памятном сорок пятом привезли его из киевского госпиталя и положили на эту кровать. С тех пор он лежит здесь. Лежит, лежит, лежит... Тридцатилетний, сорокалетний, теперь уже – пятидесятилетний. Инвалид. Навсегда.

Кусочек синего неба, и нет в этом небе – ни единого облачка. «Хорошее небо, – подумал Шигинсыз, – совсем как в том сне, лишь тогда белобокие облака плыли над вершинами белоснежных гор и весь мир был таким чистым. Чистая река, чистое небо, чистые помыслы, чистая юная красота девушки...»

– Боже мой, – вздохнул Шигинсыз. Ему вмиг расхотелось о чем-либо думать, и он невидящим взором уставился в давно не беленный потолок.

Обрывки сна не давали ему покоя, и он понял, что этот сон не пройдет для него бесследно. Что нельзя убежать от этого сна, как нельзя убежать от судьбы. Он опять повернул голову к окну и стал искать глазами белого голубя, который прилетал к нему каждое утро. Но хлебные крошки, кусочки сахара в его миске так и лежат нетронутыми. «Значит, не прилетал сегодня, – подумал Шигинсыз. – Уж не случилось ли с ним что?»

Эта мысль испугала его – ведь белый голубь был единственным существом, которому он мог рассказать о своем одиночестве. Их встреча произошла зимой, и с тех пор они были неразлучны. Голубь, усталый, мертвеющий, с подбитым крылом, упал на балкон, и сестра подобрала его и принесла Шигинсызу. Целый месяц Шигинсыз выхаживал голубя, кормил с ложечки, бинтовал его поломанное крыло, рассказывал ему о своей жизни. Но вот прошел месяц, голубь набрал сил, и ему надоели бесконечные рассказы инвалида. Все чаще он нетерпеливо взмахивал крылом, садился на подоконник и оттуда подолгу смотрел в окно, стучал клювом в стекло и все чаще и чаще, все дольше и дольше кружил по комнате. Затем, не найдя выхода, усталый и нахохлившийся, он опускался на тумбочку и смотрел на Шигинсыза. И Шигинсыз понимал, что обозначает этот взгляд, он гладил голубя корявыми ладонями и вел с ним воображаемый разговор.

«Ты хочешь оставить меня?»

«Да».

«Но ведь я привык к тебе. Иногда мне кажется, что ты стал моим братом. Я говорил тебе о своих печалях, я рассказал тебе все о себе. Как же ты можешь оставить меня одного?»

«И я тоже привык к тебе, но я должен летать. Всякий, живущий на земле, одинок. Не горюй...»

«Я буду тосковать по тебе».

«Вся жизнь – тоска и ожидание».

«Белый голубь, не улетай, не покидай меня».

«Но мне нужен голубой простор, синее небо».

«А мне? Разве я не мечтаю об этом?»

«Но ведь ты человек. Ты рожден быть человеком, и нет на земле большей свободы, чем родиться на ней человеком».

«Но я несчастлив. Я не могу подняться с кровати. И разве это счастье, разве это свобода?»

«Эй, человек, да разве я повинен в этом? Вы, люди, сами виноваты во всем. Вы – свободны, но всегда готовы уничтожить друг друга, и только вы, вы сами виноваты во всем».

Шигинсыз все гладил и гладил крылья голубя – никак не мог справиться с волнением. Наконец, решившись, он позвал сестру и велел ей выпустить голубя на волю. В балконную дверь ворвался холодный воздух, и приободрившаяся птица громко захлопала крыльями. Шигинсыз устало закрыл глаза и отвернулся к стене.

Несколько раз приходила приемщица из магазина народных промыслов – Шигинсыз подрабатывал к пенсии, вырезая из дерева маленькие фигурки людей, зверей, птиц, и работы его шли нарасхват. Но огорченная женщина уходила от него с пустыми руками, мастер вот уже целую неделю, с тех пор как улетел голубь, не мог взяться за дерево. Навестил его и сам директор магазина. Он сначала был недоволен, а потом смягчился, заговорил о плане и умолял Шигинсыза выручить их. Шигинсызу стало стыдно, что он подводит этого хорошего человека, и он, пряча глаза, пообещал закончить партию изделий к завтрашнему вечеру. Но резец по-прежнему падал из его рук, он перебирал заготовки с едва намеченными контурами будущих фигурок и ничего не мог с собой поделывать. Так прошел день. К вечеру он порезал руку и, рассердившись, швырнул на пол

и нож, и кусок дерева. И тут же забылся тяжелым нервным сном, но внезапно его разбудила Жамал.

– Голубь, голубь прилетел! – громко сказала она.

– Мой голубь, голубь мой! – шепотом откликнулся Шигинсыз.

Жамал открыла балкон, и голубь, цокая коготками, подошел к кровати, взлетел на тумбочку.

«Ты скучал без меня?» – спросил голубь.

«Оказывается, от тоски можно заболеть».

«И я соскучился по тебе».

«Ведь ты теперь никуда не улетишь?»

«Улечу... Это выше моих сил».

«Но я не могу без тебя! Приходил директор магазина и ругал меня. Мне стыдно, но я ничего не могу делать без тебя».

«А ты сделай себе деревянного голубя. Ты будешь смотреть на него, когда заскучаешь, и тебе станет легче».

«Но ведь это всего лишь дерево. А ты бы не смог навещать меня, пусть ненадолго?»

Голубь встряхнул крыльями и задумался.

«Мы бы завтракали вместе», – предложил Шигинсыз.

«Надо подумать», – важно ответил голубь.

«Значит, договорились», – улыбнулся Шигинсыз.

«Договорились», – сказал голубь.

В ту ночь Шигинсыз так и не заснул. Как будто какая-то невидимая сила водела его рукой, и к утру он вырезал около дюжины голубиных фигурок, одна другой краше. А голубь, живой голубь, с тех пор каждое утро прилетал к его окну. Жамал впускала его, голубь садился на тумбочку, Шигинсыз кормил его, и они разговаривали.

И вот сегодня его опять нет. Уж не заболел ли его пернатый, друг? Или, может быть, стал добычей хищников?

– Как ты сладко спал сегодня, брат? Тебе, видать, сон хороший снился – ты так хорошо во сне улыбался, когда я заходила. – Это добрая и заботливая Жамал-апа пришла, чтобы умыть Шигинсыза. Он лишь сполоснул лицо и, взяв из ее рук полотенце, стал вытираться.

– Голубь не прилетал, апа? – спросил он.

– А? – Сестра, не расслышав, подставила ладонь чашечкой к уху.

– Голубь, говорю, не прилетал? – крикнул Шигинсыз. Жамал кивнула головой.

– Прилетал, да я его не пустила – ты так спал хорошо...

– Надо было разбудить меня, – огорчился Шигинсыз. Старая женщина опять не расслышала его:

– Сейчас, сейчас, я чаю тебе принесу...

Шигинсыз улыбнулся и взялся за работу. Он уже несколько дней возился с фигуркой Ертостика. «Такому батыру нельзя делать маленькие глаза, – приговаривал он. – Такому могучему батыру нужно сделать большие, ясные, бесстрашные глаза...»

После обеда к нему заглянул друг его детства и однополчанин Бериш.

– Ну, живой еще? Лежишь? Лежи, пока лежится. В постели лучше лежать, чем на кладбище, – зачастил, затараторил он.

– Пусть Аллах да услышит твои слова. – Шигинсыз обрадовался его приходу и ничуть не обиделся, услышав бесцеремонные слова друга. Да и как можно обижаться на Бериша, остролова и вруна, шального Бериша, который, как русские говорят, ради красного словца не пожалеет ни мать, ни отца: скажут, что Бериш не ест мяса, и он к баранине не притронется, скажут, что Бериш воду не пьет, и он лучше от жажды помрет, но свою репутацию весельчака поддержит, – как можно обижаться на такого человека?

До войны они вместе работали на пристани, но Бериш тогда уже был бригадиром, и Шигинсыз до сих пор удивляется, как он мог, маленький и тщедушный, не отставать в работе от таких богатырей, как он, Шигинсыз, как Бериккали, Сеидахмет – оба они так и не вернулись с войны: Сеидахмет пропал без вести, а Бериккали прикрыл своим телом взрывчатку, и ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. И эти здоровенные ребята делали все, что прикажет им Бериш, маленький, подвижный, слушались и уважали безоговорочно, признавая его бригадирскую власть.

И это именно он, Бериш, привез Шигинсыза из киевского госпиталя, где они лежали в одной палате. Бериш вез его в родной город через всю разоренную войной страну, через горы и долины, села и города, степи и перелески. Ах, как давно это было.

Их теплушку сопровождала медсестра Катя – ведь Бериш еле-еле передвигался на костылях, а Шигинсыз и вовсе был недвижим. На всех станциях, где подолгу стоял поезд, неунывающий Бериш, ковыляя на своих костылях, отправлялся добывать еду. Все, что ему удавалось достать, он отдавал Кате, и она делила съестное поровну.

– Что бы вы делали без меня? – подмигивал он.

– Умерли бы голодной смертью, Бериш, – смеялась в ответ Катя.

– Эх, Катерина, хорошо, что хоть ты это понимаешь, – нравоучительно говорил ей Бериш, но глаза его смеялись. – Может, поцелуешь бойца за его продовольственные подвиги? – Он подсаживался к Кате и обнимал ее.

– Перебьешься! – Катя, улыбаясь, отбрасывала его настойчивую руку и подходила к раскрытой двери теплушки.

Девушка глядела на бесконечные леса, тянущиеся вдоль полотна железной дороги, и ее голубые глаза темнели. Может, эти зеленые леса и луга напоминали ей родную Украину, и сердце ее наполнялось горечью, что поезд уносит ее все дальше и дальше от родимых мест? Кто знает, кто поймет девушку? А Шигинсыз и этого ничего не видел.

Все сливалось в его сознании – гул голосов, стоны, предсмертный бред раненых, шутки-прибаутки выздоравливающего Бериша, мягкий голос Кати, крики торговков на станциях и бесконечный перестук колес. Как-то раз он очнулся и увидел Катю. Она глядела на него, подперев круглое лицо ладонью, рядом с ней топтался Бериш.

– лето скоро начнется, весна уже проходит. Цыган шубу продал, – сказал он Шигинсызу вместо приветствия.

– Потерпите, потерпите, миленькие, – вздохнула Катя. – Скоро уже приедем, и скоро конец этой проклятой войне, чтоб ей пусто было.

Шигинсыз крепко стиснул зубы и закрыл глаза. «Ну, приедем, – думал он. – А что я дальше буду делать? всю жизнь лежать пластом и не шевелиться? Да не

лучше ли было умереть сразу и навсегда, чем остаться на всю жизнь таким вот живым трупом? Ах, почему я не умер тогда, почему не погиб, зачем оставлен я мучиться на этой земле!» – казнил себя он.

– Шигинсыз, – окликнул его младший лейтенант Токай Ибрагимов. Высокий, красивый, с едва пробивающимися усиками, он сидел рядом с Шигинсызом и водил тонкой палочкой по полу.

– Что, Токай? – мягко отозвался Шигинсыз. Он знал о трагедии парня: не успев оказаться на фронте, он тут же попал под артобстрел и на второй день своего пребывания на войне лишился обоих глаз.

– Ты видел когда-нибудь живого немца?

– Видел, видел, будь они прокляты. Я в разведке был.

– Повезло тебе, – вздохнул Токай. – Видеть своего врага, живого врага, победить его – какое это счастье...

...Очнулся Токай от страшной тяжести, навалившейся ему на грудь. Разгребая руками стылую землю, он выбрался из воронки, но дальше двигаться не мог, темнота окружила его.

«Неужели бывает такая темень, когда ничего, ни проблеска, ни тени, не видно?» – удивился он и, вдруг пораженный страшной мыслью, принялся ощупывать свое лицо. Оно было залеплено то ли кровью, то ли грязью. Он дотронулся до пустых своих мягких глазниц и с криком ужаса побежал по изрытому снарядами полю... Нет... Глаз нет... Слепой! Он спотыкался о трупы, ящики со снарядами, падал, вставал и снова бежал. Ослеп! Навсегда. Черная, непроглядная ночь крутом – это навсегда! Навсегда!

– Я их не только видел, но и этими вот руками душил, будь они прокляты! Чего только я не навидался за четыре года.

Но Токай уже умолк и снова принялся ощупывать пол своей тросточкой. К ним подошла Катя.

– Ну чего приуныл, Токай? – грубовато-ласково сказала она. Завтра будем в твоём Свердловске. Мать пир устроит, девушки к тебе придут...

– Какие для меня теперь девушки, – сморщился Токай.

– Какие такие? Да ты ж парень хоть куда, чего ты прибедняешься? – притворно рассердилась Катя и, потрепав его по жестким волосам, ушла делать кому-то перевязку.

– Не вспоминай, не надо, сам себя травмишь, – сказал Токаю Шигинсыз.

– Да мне не это обидно, что я глаза потерял. Мне обидно, что я всего два дня воевал и никакого подвига не успел совершить. Что толку от того, что я на войне был, вот скажи мне, прав я или нет?

– Ничего не поделаешь, судьба, – вздохнул Шигинсыз. – Ты вот глаза потерял, зато ходишь. А мне врачи сулят, что я всю жизнь на животе пролежу. Ну, может, на спину когда-нибудь перевернут, – болезненно улыбнулся он. – Нам в госпитале один майор говорил, что наш главный подвиг еще впереди, что мы, тяжелораненые, инвалиды, должны достойно жизнь прожить, не сдаваться, не уступать своим недугам, найти себе в жизни такое занятие, чтобы счастливыми быть. А я... мне, если сказать правду, мне больше всего умереть хочется...

– Главный подвиг впереди? – прошептал Токай и вдруг встрепенулся. – Правильно говорит майор, нельзя умирать. Ты знаешь эти стихи:

Не кланяйся горю, не бойся невзгод
У всех ли безоблачны юные годы?

– Ну и при чем здесь это? – с раздражением перебил его Шигинсыз, но теперь уже Токай утешал его.

– Я знаю, Шигинсыз, что война была в твоей жизни звездным часом. Ты ведь до войны только-только на ноги встал, а на войне был героем. Так пусть твое мужество будет светлым лучом во всей твоей жизни, помни о войне, будь достоин себя...

– Умный ты парень, Токай, – смягчился Шигинсыз, – и толковый. Таких, как ты, в наших краях пророками зовут. Правда, по возрасту ты не очень подходишь, – засмеялся он. – Скажи, у тебя девушка-то есть? Ждет тебя, поди?

– Нет у меня девушки, не успел завести, – виновато произнес Токай. – А стихотворение это заканчивается так, слушай:

Ярится тигрицею жизнь-кровопийца,
Но храброго льва устрашит ли тигрица?

Вася Ермолаев из Барнаула взял в руки трофейный аккордеон и широко растянул меха.

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег, на крутой.

Пел весь вагон. А неугомонный Бериш при последних словах песни так подмигнул Кате и такую ей соорил гримасу, что она не выдержала и рассмеялась. Но тут другая песня захватила бойцов.

...Идет война народная,
Священная война...

Берущая за душу мелодия этой песни-призыва не могла оставить Шигинсыза равнодушным, и он хотел запеть во весь голос, как другие, но тут же закашлялся и стих. А песня, казалось, придала бойцам силы. Те, что смогли встать, обнялись и, поддерживая друг друга, раскачивались в такт песне. На руку Шигинсыза упала слезинка. Он протянул ладонь и коснулся ею лица слепого. Токай, вздрогнув от прикосновения, быстро утерся рукавом.

– Разве ты не храбрый лев? – спросил Шигинсыз, крепко взяв его за плечо. Токай промолчал.

– Человек не должен сам себя убивать, но жить мне теперь будет неинтересно, – наконец выдавил он.

– Да что ты такое болтаешь! У него еще и девушки не было, а он ерунду болтает... «Сам себя убивать». Ты даже мысли такие выбрось из головы, тебе еще жить да жить! – прикрикнул на него Шигинсыз.

– Ладно, Шигинсыз, будем жить, – усмехнулся в ответ Токай.

– Эй, Василий, дай-ка мне эту немецкую бандуру! – вдруг разошелся Бериш.

– Зачем она тебе? – недовольно отозвался Василий, который уже прятал аккордеон в чехол.

– Петь буду.

– Отдохнуть надо, – скупно сказал Вася.

– Это кому надо отдохнуть? – прищурился Бериш.

– Всем надо отдохнуть. И мне, и тебе, и инструменту.

– Ты отдохни, а я потом отдохну, и за инструмент ты не беспокойся – все равно ты его в карты на барнаульском базаре проиграешь, так что давай его скорей сюда, не ломайся, – нашелся Бериш под дружный хохот остальных бойцов. Даже Токай усмехнулся.

– Земляк за словом в карман не лезет, правда, а?

– Да, уж он с детства такой, – улыбнулся Шигинсыз, а Вася, смущенный общим смехом, махнул рукой и передал аккордеон Беришу, но не удержался и сказал напоследок:

– Ты смотри поосторожнее. Трофейная штука, тонкая...

– Да ты не бойся. Что останется от него и что останется от меня – все твое, – снова срезал его Бериш.

И Вася, не желая связываться с острословом, махнул рукой и стал слушать песню Бериша.

– Я вам нашу песню спою, такую, в которой говорится о нашей родной стороне, о тоске, о любимой девушке, – сказал Бериш и запел по-казахски:

Речка Шили в камышах

Думай и о нас, родной...

Шигинсыз еще раньше, когда они работали грузчиками, слышал, как поет Бериш. Но сейчас он страшно волновался, как бы не сорвался голос у Бериша, не испортил знакомую песню... Но Бериш пел сильно, ровно, спокойно... Катя не отрываясь смотрела на певца, и Шигинсыз наконец-то понял, с чего это распелся его друг, – он хотел покорить сердце девушки. «Ох, и ловкач же ты, беркут ты мой степной», – с незлобивой усмешкой подумал он.

А Бериш все пел и пел. Перед каждой песней он объяснял бойцам ее содержание, и русские, украинцы, сибиряки-чалдоны – все они долго слушали казахские мелодии, которые дарил им влюбленный их товарищ..

Токай вышел в Свердловске, расцеловавшись со всеми на прощание. Поезд приближался к Барнаулу, и теперь не находил себе места Вася Ермолаев. Все курил без конца да с нетерпением поглядывал в окошко.

– Ты, Вася, что-то на свой аккордеон внимания не обращаешь. Гляди, не дойдешь до базара, как его у тебя сопрут, – подсмеивался над ним Бериш, и Вася, отчаянно махнув рукой, усаживался возле Шигинсыза:

– Твоего земляка не переговоришь. Лучше бы посерьезнее был, о ноге своей, например, подумал...

– А чего мне все время об одном и том же думать? Разве я сумасшедший? Катя, разве я сумасшедший? – изображая испуг, принимался спрашивать Бериш.

Катя смеялась.

– Конечно, не сумасшедший, – нежно говорила она.

– Подумать только, и к этой дивчине успел уже подмазаться наш Бериш, – притворно сердился Вася. – Ну, смотри, Кать, через такого ухажера ты и Украину свою забудешь, окрутит он тебя, хромой черт!..

– Так это ж и есть моя мечта, Василий Игнатьевич! Мы решили в День Победы свадьбу устроить, – весело смеялась Катя.

– Клянусь! – божился Бериш.

– Да ну вас, – сдавался Вася Ермолаев.

И опять говорили о чем-то между собой Бериш и Катя.

– Красивее города нет, чем Семипалатинск. Он весь зеленый-зеленый. Через него великий Иртыш протекает, и на этом Иртыше есть такой остров, такой замечательный остров, – убеждал Катю Бериш, и Шигинсыз, слушая его рассказы, сам начинал верить, что Семипалатинск – это самый замечательный город на земле

– Эй, Бериш, ты бы врал поменьше. Уж не такой он и зеленый, наш город. Приедем домой, какими глазами будешь смотреть на Катю? – говорил он другу, когда они оставались наедине.

– А если не врать, как можно уговорить девушку? Скажи как, и я не буду врать, – смеялся в ответ Бериш, и у Шигинсыза почему-то легко становилось на сердце.

Непонятым шумом и весельем встретил их барнаульский вокзал. Играли гармошки, пританцовывали женщины, какой-то здоровенный сибиряк лихо пустился впрыскаду. Поезд еще не успел остановиться, как Вася выпрыгнул из вагона и устремился вперед. Чего это они? – удивился Шигинсыз.

– Не знаю, – проговорила Катя. – Ой, смотрите. Вася своих встретил. – В голосе ее послышались слезы. Какая-то старушка подошла к вагону.

– Дети мои, родные мои, возьмите, покушайте. – Она подала в вагон ведро. – Берите, здесь картошечка горячая, хлеб, сало.

– У нас денег нет, – сказал Бериш, отстраняя ведро.

– Не надо денег. Ничего теперь не надо, – сказала старушка и, вытерев глаза уголком платка, отошла от вагона.

Бериш так и застыл с открытым ртом, а Вася тем временем, одной рукой обняв жену, а другой прижимая к себе детей, стоял на перроне и плакал, не стыдясь своих слез.

– Вася, Васюня, истосковались мы по тебе. Дети, дети наши сколько уж месяцев спрашивают: когда папка приедет, а я им и ответить ничего не могу, – негромко приговаривала его жена.

– Эй, земляк! – Кто-то вдруг с размаху хлопнул его по спине. Вася сердито обернулся.

– Да что это с народом? Мы там кровь проливаем, а здесь, в тылу, жрут, пляшут да веселятся! – крикнул он.

– Да ты что, земляк? Или не знаешь, что война вчера кончилась? – На него удивленно глядел пожилой старшина с седыми усами.

– Как так кончилась? – опешил Вася.

– Кончилась, кончилась, Васенька! – плача, сказала жена.

– Что?.. Война.. Кончилась? Вера!.. Веруня ты моя!. – Он подбежал к вагону и закричал что было сил:

– Да вы что же сидите-то тут! Война ведь, война кончилась! Вчера! Вчера война кончилась!..

Толкая друг друга и шумя, выпрыгивали из вагонов раненые – они только теперь поняли, какая великая радостная весть обошла их стороной, пока они ехали. И они обнимались и целовались: знакомые и незнакомые, солдаты в серых шинелях и женщины в заскорузлых телогрейках, девушки в весенних беретках и парни, опаленные фронтовыми дорогами, – все смешалось в этом едином праздничном круговороте.

Бериш тоже вертелся в потоке целующихся и обнимающихся, но хитрец действовал с большим разбором, предпочитая иметь дело с красавицами и юными девушками. Встав на цыпочки, он хотел было поцеловать какую-то высокую и привлекательную женщину, но Катя дернула его за рукав.

– Как тебе не стыдно? – прошептала она.

– Смотри какая ревнивая! – неожиданно рассмеялась высокая женщина – Ну, сегодня ревность пусть будет не в счет. Будь здоров, дорогой... – И, обхватив щуплого Бериша, она подняла его в воздух и трижды смачно поцеловала, после чего лукаво подмигнула Кате.

Катя отвернулась, а Бериш смущенно смотрел на нее.

– А со мной ты не хочешь поцеловаться? – вдруг спросила Катя, не глядя в его сторону.

– Не знаю... – промямлил он. – Ты же не разрешаешь.

– Что? – не расслышала Катя.

– Хочу, – твердо сказал Бериш.

– Тогда поцелуй, если хочешь, – тихо сказала Катя, и Бериш обнял ее.

– Не плачь, Катя... Кончилась война, кончилась...

– О боже, неужели конец всему этому аду... – плакала Катя.

– Кончилась война, кончилась, – шептал Бериш, целуя ее полные слез глаза.

Начальник станции объявил, что отправление поезда задерживается на четыре часа. Солдаты встретили эту весть дружным «ура».

Ах, как хотелось бы и Шигинсызу выйти на улицу – ведь он остался в теплушке один... И когда он почувствовал, что по лицу его текут слезы, то не сдержался и заплакал навзрыд, радуясь общему счастью народа и одновременно злясь на свое бессилие.

– Есть тут казахи? – услышал он чей-то голос.

Он поднял голову, вытер слезы и увидел здорового старика в теплом бешмете, опоясанном кожаным ремнем, и в тяжелых сапогах – саптама.

– Ассалаумагалейкум, аксакал, – сказал он,

– О, пале ты казах? – обрадовался старик. – Уагалейкумассалам! Хорошо, что встретил тебя, свет мой! Кумыс будешь пить? – Он поставил на пол большой торсык и подсел к Шигинсызу.

– Да, я казах, аксакал, – гордо ответил Шигинсыз.

– О, барекелды! Душа родная! – Старик развязал торсык и налил в тостаган кумыс. – Пей, пей, милый. Вся хворь пройдет...

– Вот уж не думал, что встречу сегодня аксакала из аула, вот уж не думал, – бормотал Шигинсыз, протягивая руки к тостагану.

– Слава Аллаху за то, что он нам дарует. – Старик поддержал его голову. – Пей, пей, сынок...

– Спасибо, аксакал...

– Пей, пей, сынок, не торопись... Поезд еще четыре часа стоять будет, начальник сказал...

– А как там на улице, аксакал? Радуетесь народ, да?

– Да как же ему не радоваться? – Старик, сощурившись, поглядел в окно. – Поднялся дух народный. Что и говорить! Заживем теперь, заживет теперь народ, – мечтательно сказал он.

– Заживем, – как эхо повторил Шигинсыз его слова.

– А родные-то есть у тебя? – спросил старик.

– Есть... Сестра в Семипалатинске старшая, племянник Ербол, теперь уже джигит, наверное. А муж ее погиб в Белоруссии.

– А отец, мать?

– Отца я не помню, а мать померла в голодный год. Меня сестра воспитала, – сказал Шигинсыз.

Старик молча смотрел на него, с жалостью разглядывал исхудавшее лицо молодого парня, его ввалившиеся щеки, покрасневшие от слез глаза.

«Много же пришлось тебе хлебнуть горя, милый ты мой, – думал он. – Не нравится мне, что лежишь ты здесь один. Не нравится. У тебя открытый высокий лоб и лицо – ясное, доброе. Толковый, видать, ты парень. Аллах да поможет тебе».

– И у меня было четверо сыновей, – вздохнул он. – Ни один из них домой не вернулся, а ведь были здоровые парни, все в меня...

– Всем похоронкам тоже верить нельзя, бывает, что и похоронки ошибаются...

– Да нет, тут уж точно, наверное... Двое погибли на войне с белофиннами, один на Халхин-Голе, когда с японцами дрались, а самый младший из-под Москвы не вернулся, еще тогда, в сорок первом... Что делать, если такова воля Аллаха. Аллах все видит...

– А старушка ваша здорова? – спросил Шигинсыз,

– Эх, батыр, и старушку я не сберег. Не вынесла, покойница, такого горя. – И густые брови еще больше нависли над глазами старика, а усы зашевелились.

С улицы вновь донеслись радостные крики.

– Наконец-то дождались мы нашего дня, – сказал старик. – А то ведь совсем было ни смеха, ни шуток не слышно. Печаль да страдание все веселье отбили.

– Один живете?

– Нет. Дочка у меня есть, зять. С ними и живу. В Барнауле да в Бийске казахов-то ведь много, мы еще в тридцатые годы как сюда приехали, когда Турксиб строили, так здесь и прижились.

– А почему в наши края не возвращаетесь?

– Почему? – задумался старик. – Был тут разговор перед войной, да молодежь не захотела. А теперь поздно, всех своих детей отсюда на фронт проводили, ду-маем, а вдруг придет от них какая весточка?..

– А с фронта кто-нибудь возвратился?

– Нет, – помолчав, сказал старик. И поправился: – Пока нет. Ничего пока нет, кроме похоронок. Согнула спину казаха «черная» бумага, милый ты мой... Вот как оно обернулось...

В пустом вагоне воцарилась тишина, Шигинсыз с уважением и любопытством смотрел на крепкого старика, мужественно перенесшего все удары судьбы, и корил себя за минутное малодушие. Прямой нос, высокий лоб, жесткое лицо, мощные

плечи. «В свое время, наверное, красивый ты был джигит, – подумал он. – Красавицам из многих аулов был, наверное, по душе и сейчас еще крепок, силен. Но как могло перенести столько горя твое сердце? Каким духом нужно обладать, чтобы выстоять все эти годы, не дрогнув? Только хорошие люди берегут человеческое тепло и человеческую доброту, и ты, наверное, из их числа, аксакал!..»

– Многое приходится пережить джигиту, а щедрая душа все хорошее отдает другим. Ведь так говорим мы, казахи, аксакал?

Старик молча кивнул, и тут в вагон ворвался шумливый Бериш.

– Ну, молодец, аксакал, – засуетился он, увидев торсык с кумысом. – Угодил такому батыру, как наш Шигинсыз! Молодец!..

– А сам-то будешь пить? – спросил старик, наполняя тостаган.

– Да кто же его будет пить, если не я, чистокровный казах!

Бериш гулко стукнул себя в грудь и опорожнил тостаган. Старик, улыбаясь, следил за ним.

– И девочатам дай, пусть тоже попробуют, – сказал он.

– Это что, самогонка? Я не буду пить, – решительно отозвалась Катя, вошедшая следом.

– Какая самогонка, – обиделся Бериш. – Кумыс. Кобылье молоко. Наш напиток...

– Ой, кислый какой! – Катя, сделав несколько глотков, возвратила тостаган Беришу.

– Без привычки пьешь, потому и кислый, – сказал старик. – А привыкнешь, будешь пить с удовольствием, до ста лет доживешь и все такая же красивая будешь!

Катя зарделась, а Бериш подмигнул старику.

– Не беспокойтесь, аксакал, научим еще, научим, – снова зачастил он. – Вы лучше еще нашему батыру налейте, Шигинсызу.

– Пейте, пейте, дети, – бормотал старик. – Неделю кумыс собирал, все этого дня ждал. Специально на станцию пошел, русские не пьют кумыс, вот я и пошел искать казахов.

– Знакомьтесь. Это Вера – моя жена, а вот мои пацаны! – В теплушке появился Василий. Дети облепили его, а лицо Веры сияло от счастья.

– О, вот и хорошо!.. Василий Ермолаев и его семья выпьют, выпьют кумысу за всех русских, которые никогда не пили его! – засмеялся Бериш.

– На здоровье, карагым! – Старик протянул Василию тостаган.

– Спасибо, отец. – Василий выпил кумыс, вытер губы рукавом и вдруг подмигнул Беришу; – Ну, а ты чего молчишь?

– Как так я молчу? Я все время говорю, – даже растерялся Бериш. – Ты лучше скажи, чего ты здесь околачиваешься, если до дому доехал? Может, жена тебя в дом не пускает? – подтрунивал он над Василием.

– Дорогие мои, а может, вы все сейчас ко мне поедете? Арба готова. Будете гостями, да и люди на вас, фронтовиков, пускай посмотрят, полюбуются...

– Спасибо, аксакал, – сказал Шигинсыз. – Но они шутят. Василий сейчас домой пойдет, а нам дальше ехать.

– Шутить-то мы шутим, – задумчиво сказал Вася. – Но вот у русских есть поговорка. Ну-ка, Бериш, переведи аксакалу: давши слово – держись, а не давши – крепись.

– Э-э, таких пословиц и у нас хватает, милый, – сказал старик, выслушав перевод, – Вот, например: джигит, который клянется дважды, это не джигит.

– Хорошо, хорошо сказано, аксакал! – одобрил Вася, – А то тут у нас один джигит клялся, что в День Победы будет его свадьба, а теперь что-то об этом помалкивает.

Катя и Бериш переглянулись. Бериш, улыбаясь до ушей, взял Катю за руку.

– Вся моя оставшаяся жизнь принадлежит Кате, а смерть мне самому. Аминь!
– Он провел рукой по лицу и подмигнул Василию – что, дескать, хотел поймать меня, да не вышло.

– Милые мои, да поедemте же все ко мне в аул. Там и свадьбу сыграем. Кто же на вокзале свадьбу справляет! – взмолился старик.

– Спасибо, аксакал! Я вижу, что душа ваша, как наша степь, широкая, – расстрогался Бериш. – Но мы люди пока военные, так что сами нас поймите.

Поезд задержался еще на два часа, и до позднего вечера гулял эшелон раненых на свадьбе солдата Бериша и медсестры Кати. Вера где-то достала белое платье. На перроне танцевали, угощали друг друга – Вася, расшедрившись, подарил Беришу свой аккордеон, который он вез из самой Германии.

– Выздоровливайте, скорее поправляйтесь, сынки! – Старик на прощание поцеловал Шигинсыза в лоб и, расстегнув бешмет, протянул ему платок из верблюжьей шерсти, которым был опоясан. – Носи на здоровье, сынок, тебе это нужнее, чем мне. И торсык я вам оставляю... Будет чем в дороге утолить жажду...

– Горько! Го-орь-ко-о! – кричали с перрона, когда поезд тронулся.

А когда эшелон прибыл в Семипалатинск и Катя увидела, что город, о котором ее муж говорил как о лучшем месте в мире – маленький, с пыльными улочками, то она, вопреки ожиданию многих, ничуть не огорчилась, а только сказала:

– Да что же это за Бериш, если он не приврет?

С тех пор среди друзей и бытует поговорка: разве это Бериш, если он не приврет?

Старина Бериш, высохший, прихрамывающий, стареющий, – неужели это твои глаза сияли молодым веселым блеском тогда, тогда... тогда, тогда... там... на барнаульском перроне, в тот далекий год, в тот далекий день?..

– Как поживает твоя Катюша? – спросил Шигинсыз Бериша.

– Живет-поживает, – сварливо ответил Бериш, сделав строгое лицо. – Чего это ты такой любопытный стал? Когда спрашивал, как поживает моя молодуха, я терпел, когда спрашивал, как женка моя поживает, я терпел, а теперь вон уж мы и стариками стали, а ты все мне покоя не даешь.

– Ох пискун ты мой, пискун! – засмеялся Шигинсыз, подражая тоненькому голосу товарища.

– Жаль, что тебя немцы подбили, а то прямая была бы тебе дорога в артисты, – шутливо огрызнулся Бериш и показал на увесистый сверток: – Вот тебе передала дама, которой ты так интересуешься!

– Что это?

– Мясо с согыма¹. Она и сама хотела прийти, чтоб приготовить, да слегла, поясницу у нее ломит...

¹ Мясо, заготовленное впрок на зиму.

– Отнеси сестре...

Бериш открыл дверь на кухню.

– Здравствуйте, апа! – крикнул он.

Старуха вздрогнула от неожиданности, повернулась и недовольно посмотрела на Бериша.

– Мясо?

– Да. Шигинсыз просил, может, приготовите нам? – Старуха махнула рукой как бы прогоняя его, и насмешливо поклонилась:

– Слушаюсь, таксыр, повелитель мой!..

Бериш удалился в некотором смущении, ибо знал, что Жамал не очень-то жалуется его. Ну, во-первых, он, хоть и инвалид, но ходит же, прыгает на своей деревяшке, а ее Шигинсыз и этого лишен. А во-вторых, она никак не может ему простить, что тот перед войной уговорился с одной девушкой, ее младшей подругой, клялся, просил ждать его. А сам возвратился с русской женой, к девушке даже не зашел, и та, которая души в нем не чаяла, осталась ни с чем и многие ночи проплакала в одиночестве от горя и обиды.

Но все это было и былшем поросло. И к ним в дом, кроме Бериша, мало кто заходит, поэтому и смирилась старуха, даже частенько встречает его теперь благосклонно, поит густым ароматным чаем и ведет с ним длинные душевные разговоры – о детях, о внуках, но только не о жене. Но когда Катя появляется у них, встречает ее любезно, хотя и с холодком.

– Апа, перестаньте дуться на Бериша и Катю, – иногда просит ее Шигинсыз

– Да с чего ты взял? – Старуха обиженно поджимает губы. – Что я, из ума выжила, чтобы дуться на друзей моего единственного?..

– А что же вы такая мрачная были, когда они вчера к нам в гости пришли?

– Да беспокоюсь – что-то опять от Ербола писем нет. Уж не случилось ли у них что? – оправдывается сестра.

– Как нет? Ведь на прошлой же неделе получили, – вдруг вспоминает Шигинсыз.

– Ну и что? – сердится старуха. – За неделю знаешь сколько всего может случиться? Может, Ораз заболел. А сноха тоже хороша, только и знает что ногти свои красить в этой Алма-Ате, нет чтобы приехать, навестить нас. Е-е, что и говорить о них!..

Шигинсыз улыбается. Разворчалась сестра – до безумия любит она своего единственного маленького внука Ораза. Вот и сестра уже бабушка... Пойдите! Да ведь это значит, что и он, Шигинсыз, – дед, пускай двоюродный, но все же дед. Дедушка! Как быстро летит время, как безжалостно оно!.. Время! Тридцать три года назад!

Шестнадцатилетняя. Как мне расстаться с тобой, как? Там война, там страшно. Я боюсь потерять тебя. Давай умрем вместе...

Семнадцатилетний. Умереть не трудно, труднее жить. И жить достойно. Я должен идти воевать – ради нас, ради Отечества, ради нашей любви. Вот увидишь, как заживем мы после войны. Разгромим врага – и заживем тогда славно, долго будем жить мы после войны. Люди будут завидовать нашей любви и нашему счастью. Ты веришь в это? Прошу тебя, верь, верь...

Шестнадцатилетняя. Верю. Кому же мне верить, если не тебе, любимый? Не вставай, еще рано... Дай обниму тебя, и ты обними меня... Крепче, крепче...

Семнадцатилетний. Уже утро, радость моя. Через два часа в дорогу...

Шестнадцатилетняя. Милый! Ты сказал, что мы заживем на радость людям?

Семнадцатилетний. После войны, айналайын, заживем после войны, заживем, заживем...

Они продирались сквозь толпу людей к вагонам, ища среди людской круговерти сестру и ее мужа. Рыдали женщины, хмурились мужчины... Кто из них останется лежать на поле брани в чужой далекой земле, кто возвратится с победой домой, кто всю жизнь будет страдать от болезни, чувствуя стыд и унижение от своей беспомощности, – кому это известно?

Семнадцатилетний юноша и его зять сели в поезд...

Шестнадцатилетняя девушка и его сестра остались стоять на перроне...

Семнадцатилетний – это он, Шигинсыз, гвардии сержант Ерболсынов...

Шестнадцатилетняя – это она, Камиля, его Камиля...

Шигинсыз сначала хотел рассказать о своем сне Беришу, но потом передумал – не хотелось заново терзать сердце. И они с наслаждением принялись пить крепкий чай.

– Да, чаек у твоей апа что надо, – проговорил Бериш, вытирая вспотевший лоб носовым платком.

– Мы вот ее называем «апа», а ведь и сами незаметно состарились, Беке, – сказал Шигинсыз. – Я лежа в постели состарился, а ты – ковыляя на одной ноге.

– Ты, может, и состарился, а я еще вполне молодой человек, – заявил Бериш и тут же расхохотался.

– Чего смеешься? – рассердилась вдруг Жамал. – Лучше бы в военкомат сходил да похлопотал за нас.

– Что он может, сам босяк, в деревянном доме живет. – Шигинсыз хитро подмигнул Беришу.

– О чем это ты говоришь? – Старуха прижала ладонь к уху. – Ничего, я так, – уже погромче произнес Шигинсыз.

– Тебе все ничего, а нам что, квартира благоустроенная не нужна? Ты имеешь на нее полное право, да и я – вдова фронтовика. Я так, кстати, военкому и сказала, я сама к нему пошла, и он обещал, что обязательно нам поможет.

– Зачем вы это сделали, апа? Что мы, лучше всех, что ли? – громко и с горечью в голосе сказал Шигинсыз.

– Э-э, ничего-то ты в жизни не понимаешь, даром что поседел уже.

Старуха собрала грязную посуду и сердито удалилась на кухню.

– Все-то она знает, – пробормотал Шигинсыз.

– Ты моли Аллаха, чтоб она подольше жила, – печально ответил Бериш. – Ведь помрет она, что с тобой будет? В инвалидный дом пойдешь. – И добавил тихо: – Да, ты слышал, мне сказали, что Камиля умерла в Алма-Ате. Она в Алма-Ате жила последнее время.

– Как? – ахнул Шигинсыз. – Камиля?

– Камиля, – опустив голову, подтвердил Бериш.

«Что будет с тобой?» Именно эти слова стояли у него в ушах все эти годы, как только вернулся он с войны инвалидом. «Что будет с тобой, Камиля? – шептал он, кусая по ночам подушку. – Да уж не потому ли приснился мне сегодня этот

странный сон? Камиля... Ка-ми-ля!.. Камиля, здоровая, веселая, ушла из этой жизни, а я, инвалид, калека, жив еще. Почему? Почему я еще жив?»

Тогда, вскоре после его возвращения, Жамал, прижимая к себе восьмилетнего сынишку, плакала, не скрывая своих слез, и столько горя, столько отчаяния было в ее хрупкой фигурке, изнуренной непосильной работой и печалью, что у Шигинсыза сжалось сердце.

Шигинсыз. Я лишь одной милости просил у Бога – я просил уберечь меня от унижения, я хотел, чтобы ты никогда не увидела меня таким беспомощным, таким слабым.

Он пытался приподняться, но Камиля, положив ему на грудь голову, гладила его плечи шершавыми от тяжелой работы ладонями.

Камиля. О каком унижении ты говоришь? Я – твоя. Я готова на все Я всегда с тобой.

Шигинсыз. Нет, нет и нет! Апа, зачем вы впустили ее? Зачем?..

В его голосе слышалось отчаяние. Он легко переносил свой физический недуг, но душевные муки были сильнее его, и он, не таясь, громко и навзрыд заплакал. И тогда Жамал решила. Ее лицо потемнело от гнева.

– Эй ты, слабак! – крикнула она – Посмотри на себя, разве тебе не стыдно, что ты позоришь весь наш род? Твой дед Кареке с рассеченной головой доскакал до аула, лег, завернувшись в кошму, и не издал ни звука. Твоего отца пытали басмачи, но он смеялся убийцам в лицо. В кого же ты такой пошел? Мало быть героем на фронте. Ты живой, так веди себя, как живой. Говори с девушкой, как полагается.

– Апа, я хочу умереть, умереть! Не нужна мне такая жизнь. Дай, дай мне нож, я зарежу себя!..

Камиля хотела спрятать нож, который лежал на столе, но Жамал не дала ей этого сделать.

– Дай ему нож, – мертвенным шепотом сказала она. – Пускай делает что хочет, если он мужчина.

И, хлопнув дверью, выбежала из комнаты, увлекая за собой Ербола. Влюбленные остались наедине.

Камиля. Что ты задумал, Шигинсыз? Ведь я люблю тебя.

Шигинсыз. Любила когда-то. Сейчас ты жалеешь меня.

Камиля. Не жалею, а люблю. Я никогда не смогу забыть тебя...

Шигинсыз. Если ты действительно любишь меня, то исполнишь мое желание, одно-единственное?

Камиля. Опять скажешь, не жалею меня?

Шигинсыз. Нет, помнишь, я тебе рассказывал, как мы заживем после войны?

Камиля. Помню. Я все помню...

Шигинсыз. Много потерял я в этой жизни, Камиля. Многого лишен. И мы с тобой ни в чем не виноваты, мы чисты перед нашей любовью. Поэтому единственное мое желание, чтобы ты получила в этой жизни то, чего не смог получить я. Учись. Поступи в институт. Набирайся знаний. И помни, Камиля, ты не только за себя, ты и за меня будешь жить. И если ты любишь меня, исполни это мое желание, единственное мое желание...

Камиля. Но как я буду жить, зная, что ты останешься здесь? Что будет с тобой?..

«Что будет с тобой?» Старые стены комнаты уже слышали этот вопрос и видели слезы девушки, которая хотела быть счастливой. Старые стены, жестокие стены. Теперь, не дрогнув, слушают они страшные слова о ее смерти, и Шигинсыз замер, скорчился от горя, услышав эту скорбную весть.

А вскоре им дали новую квартиру, светлую, сухую, теплую, с ванной и паровым отоплением, неподалеку от железнодорожного вокзала. Казалось бы, веселись да радуйся. Но Шигинсыз никак не мог обжиться на новом месте. Гудки тепловозов, перестук вагонов, громкие голоса диспетчеров – все это мешало ему. На старой квартире, у пристани, тоже было шумновато, но там шум был родной, привычный, а здесь все по-другому.

Старуха, которая привыкла вставать рано утром, бранила его:

– И чего тебе не спится? Ни свет ни заря, а он уже строгают свои деревяшки.

Шигинсыз только улыбался ей в ответ, и она подходила к его постели:

– Может, тебе не нравится здесь? Так давай переедем назад, будем снова печку топить. Хочешь, а?

– Да ладно тебе. – Шигинсыз качал головой, и на душе у него было печально.

Сестра слышит все хуже и хуже, жалко ее. Но теперь им стало не так одиноко. На лето Ербол с женой привезли к ним Ораза – сами они работали геологами и уехали в экспедицию. Мальчик рос смышленным и веселым. В четвертый класс уже перешел и учился на отлично, что вызывало гордость у Шигинсыза и Жамал-апы – не угасает их род, вон какой славный озорник растет.

– Голубь твой, наверное, ищет нас и найти не может, – сказала Жамал-апа, накрывая маленький столик на колесиках.

– Да, жалко птицу, – сказал Шигинсыз.

– Как в рай попали, до чего хороша квартира, – хвасталась старуха. – И Катерина молодец – помогла нам при переезде. Дай Бог здоровья ее детям, хорошая женщина...

– Да и Бериш тоже, – заикнулся было Шигинсыз, но старуха тут же перебила его:

– Хвали, хвали своего хромого. Два гвоздя забил и две бутылки выпил...

Шигинсыз засмеялся:

– Апа, какой же это будет Бериш, если не соврет, а тем более не выпьет за дарма?

– Сказал, на следующий день приду – доделаю, а самого вот уже целую неделю нет...

– Тут для этих стен особые гвозди нужны, простые не лезут.

– Ну, я ему покажу особые гвозди! – сердилась старуха. – Пусть только явится...

Но Шигинсыз знал, что она ему «покажет», когда он придет. Чай заварит, будет над дастарханом хлопотать, может, бутылочку поставит. Или нет – нальет стакан, а остатки спрячет в шкафчик. Но какой же это Бериш, если он не добьется своего? Бериш начинает громко расхваливать старуху.

– Нету больше водки, нет, кончилась, – твердит она свое.

– На нет и суда нет! – кричит Бериш ей на ухо. – А только такой почтенной женщине не пристало говорить «нет». Говорите «есть», даже когда нет.

– О чем это он? – поворачивается старуха к Шигинсызу.

– Говорит, что еще сто граммов в бутылке осталось.

– Иди тогда сам налей, – разрешает она.

И Бериш, прихрамывая, отправляется на кухню, а наполнив стакан, говорит торжественно:

– Ну, как говорится, не будем зла на дне оставлять.

Шигинсыз заливается смехом, а старуха, заподозрив, что это они смеются над ее глухотой, встает и уходит на кухню, обиженно поджав губы.

...Когда они переезжали на новую квартиру, Шигинсыз впервые за последние тридцать лет увидел свой родной город. Как похорошел и разросся Семипалатинск – нет того песка, в котором раньше прохожие утопали по щиколотку, везде асфальт, улицы прямые как стрелы, дома высокие, деревья зеленые, и люди как-то изменились, веселые стали, надели красивые модные одежды..

«Как время летит, боже мой! – думал Шигинсыз. – И только я все лежу в своей постели. И никогда не смогу даже навестить могилку Камили. Говорят, она попросила перед смертью перевезти ее прах на родину, в Семипалатинск, и дети исполнили ее желание. Спасибо им! Но почему она просила похоронить ее на родной земле, почему? Может, хотела быть поближе ко мне, хоть на том свете, коли в этой жизни не удалось нам оказаться вместе?»

Он тронул Бериша за плечо и сказал виноватым шепотом:

«Ты не можешь попросить шофера, чтобы он заехал на кладбище?»

«Могилу Камили хочешь посмотреть?» – сразу же догадался его друг.

«Да», – тихо сказал Шигинсыз.

Машину они остановили у самого забора. Шигинсыз повернул голову и увидел огромное казахское кладбище. Бериш, прихрамывая, подошел к одной из могил и припал на колени. У Шигинсыза дрогнуло сердце – он понял, чья это могила, и не отрываясь следил за движениями Бериша. Когда тот провел ладонями по лицу, он поспешно сделал тот же жест. Слезы душили его, но он сдержался и не заплакал. Не отрываясь смотрел он на белый мраморный памятник, поставленный на могиле... Белый памятник, белая пирамидка... Неужели это все, что осталось от Камили?..

– Тише ты! – шикнула на него старуха – А то внука разбудишь.

Бедная! Она и не знала, что громче ее самой никто в этом доме давно уже не говорит.

– А я проснулся, – сказал Ораз, который спал с Шигинсызом в одной комнате. – Доброе утро!

– Надо же, какой озорник! – проворчала Жамал-апа. – Ну, быстро иди умывайся, а потом чай пить будем...

С приездом Ораза в жизни Шигинсыза произошли приятные изменения – он стал чувствовать себя бодрее, а все потому, что Ораз оказался пареньком смысленным и внимательным.

Он часами не отходил от постели Шигинсыза.

«Вы меня научите вырезать из дерева», – однажды не выдержал мальчик.

«А ты очень хочешь?» – испытующе поглядел на него Шигинсыз.

«Очень», – признался внук.

«Тогда будем учиться», – сказал Шигинсыз, сделав важную паузу.

И вот сейчас Ораз самостоятельно вырезает фигурку Алпамыса. Жамал-апа рассказала ему сказку об этом отважном батыре, и Ораз тут же решил приняться за работу.

В этот день Шигинсыз ожидал приемщицу из магазина, но, к его удивлению, вместо приемщицы к нему в комнату зашли двое парней, художников.

– Шигинсыз-ага, от имени коллектива наших мастеров поздравляем вас! По итогам полугодия вы оказались победителем соцсоревнования. Позвольте вручить вам переходящий красный вымпел и денежную премию, – сказал один парень.

– А завтра к вам пойдет директор. Он собирается заказать вам цикл «Казахские батыры» для выставки в Лейпциге, вы, наверное, слышали об этом?

– Нет, не слышал. Спасибо вам, спасибо, ребята, – волнуясь, сказал Шигинсыз и тут же спохватился: – Да вы присаживайтесь, присаживайтесь. Чего стоять – в ногах правды нет, как говорится...

Старуха засуетилась, забегала, поставила гостям стулья, стала накрывать на стол.

Раздался звонок, и на пороге появился Бериш. Он довольным взглядом отметил белую скатерть на столе и тут же зачистил по своей привычке:

– Сдается мне, что в этом доме какой-то праздник. Не иначе как ты медаль к тридцатилетию Победы получил, а ну, признавайся!

– Да я ее уже давным-давно получил. Ассалаумагалеюк, Бериш... – сказал Шигинсыз.

– Угалеюк, ассалам. Медаль получил и лежит себе втихомолку. Нехорошо, – пожурил его Бериш.

– Сам виноват, совсем нас забыл, – ответил Шигинсыз.

– Нет, а все-таки, что у вас за праздник? – продолжал допытываться Бериш.

– Шигинсыз-ага оказался победителем соцсоревнования, и мы пришли его поздравить, – объяснили ему художники.

– Эхе-хе, – притворно огорчился Бериш. – Надо же, тех, которые еще ползают потихонечку, никто не замечает, а этот хитрец, лежа в постели, всех обгоняет...

Он бы долго еще разглагольствовал, но старуха поманила его:

– Эй, хватит тебе, Бериш, попусту языком болтать, иди-ка лучше в магазин.

– Вот и деньги есть. – Шигинсыз показал на конверт, который вручили ему посетители.

– Да куда ходить не надо. Вы не сердитесь, но мы все с собой прихватили... Не возражаете? – спросил один из парней Шигинсыза.

– Вот молодцы какие! Да кто же будет возражать. О, дети этого века – особенные дети, все наперед обдумают, я всегда говорил! – И довольный Бериш зашел на кухню, чтобы помочь старушке.

– Спасибо вам, ребята, – сказал Шигинсыз. – Возьмите деньги отсюда, из конверта.

– Как вам не стыдно, Шигинсыз ага, – возмутился один из парней, но второй наступил ему на ногу и сказал: – Сочтемся, потом сочтемся, мы теперь к вам часто будем приходить...

– А ведь в этой квартире еще один мастер живет, – сказал Шигинсыз. – Из самой столицы приехал. Ораз... – позвал он внука.

– Что, ага? – В дверях появился мальчик. К рубашке его прилипли деревянные стружки, за ухом торчал карандаш...

– Покажи дядям своего Алпамыса. Может, он им понравится, и они его заберут на выставку в Лейпциг.

– Нет, – серьезно сказал мальчик. – Еще не готово... Вот закончу, тогда покажу.

– И то верно, – сказал Шигинсыз. – А как закончишь, сдадим его в магазин, да?

– Нет-нет, ага, – поспешно сказал мальчик. – Я его вам подарю. Я хочу еще что-нибудь вырезать.

– Молодец, парень, умница, – сказали художники. – Работай, авось и выйдет из тебя такой же славный резчик, как и твой дедушка.

Шигинсыз, сияя от счастья, глядел на Ораза.

Осень в этом году выдалась сухая и солнечная. Я иду по вызолоченному солнцем лесу. Дует легкий ветерок, и с деревьев падают, кружа, желтые листья. Когда меня одолевает тоска по родной земле, по Чингистау, я сажусь в электричку и уезжаю за город, в Подмосковье. Гуляя по лесу, в блаженном этом осеннем одиночестве, я пытаюсь сбросить с плеч все невзгоды, все печали, все тревоги. Радио сообщило, что такой теплой осени не было в Москве уже около ста лет. Я припомнил прошлую зиму – морозы, вьюги, и тогда радио тоже говорило – говорило, что такой суровой зимы не было в Москве больше ста лет.

Сто лет и тридцать три года...

Иногда мне хочется закинуть авторучку в угол, подняться из-за стола и уйти прочь от моего белого листа. Мне хочется удалиться и от друзей, и от врагов, я мечтаю поселиться в глуши, куда не доносились бы ни хвала, ни ругань, – я устаю от пустого окололитературного звона, и мне кажется, что лишь в одиночестве, вдалеке от шума и борьбы, я смогу достигнуть чего-то, что делает жизнь человека на земле осмысленной и разумной.

В такие вот печальные мои минуты ко мне является он, Шигинсыз-ага, человек, который тридцать с лишним лет лежит в постели, но живет, волнуется, думает, хотя и у него бывают черные дни, хотя и ему отчаяние временами застит глаза и теснит разум.

И мне становится легче жить, и я возвращаюсь к моему белому листу, и вместе с неоконченной фразой встречаю за столом рассвет и провожаю последние ночные звезды. Наступает утро, я засыпаю, браня себя за малодушие, за попытку удалиться, уйти от борьбы, от работы, от жизни, наконец. Ты ведь человек, говорю я себе, и если ты человек, то твердо стой на земле, делай, если можешь, добрые дела. Только ради этого ты появился на свет, так оправдай же надежды своих земляков, держи свое сердце открытым, и пусть чистый воздух родного края освежает его, не ищи легких путей, ты ведь уже знаешь, что цена добрых дел измеряется невзгодами, порою – отчаянием, порою – мучением. Но другой дороги нет. Все другие дороги ведут в тупик. За честь, доброту и правду надо бороться, надо бороться с младых ногтей и до глубокой старости. И всегда знай об этом. А если забудешь, то вспомни, что говорил тебе Шигинсыз-ага...

– Ну что, жив-здоров, карагым?

– Спасибо, как сами-то поживаете? – в ответ спросил я.

– Грех жаловаться. Жив еще...

– А где Ораз, что-то я не вижу вашего ученика?

– Увезли его, увезли от нас, занятия у него в школе начались. Скучаем мы без него...

И тогда тоже была осень. Последние солнечные лучи щедрым прощальным светом наполняли просторную комнату Шигинсыза.

– Славная осень выдалась, – переменял он тему разговора. – Есть возможность вовремя убрать хлеба.

– Больше миллиарда, верно, в этом году ожидаем. Слышали?

– Слышал. У меня ведь и радио есть, да и газеты я читаю. Самое главное – мир был бы на земле, а то ведь, не дай Бог, снова все повторится – огонь, пожарища, снаряды... Ты помнишь, друг у меня был в Барнауле? Я тебе про него рассказывал?

– Вася Ермолаев?

– Он самый. Прошлой весной приезжали они к нам вместе с женой. А сегодня получил вот письмо, внучка его пишет. Не стало Васи, доконали его старые раны. Эх ты, жизнь-красавица, злая ты красавица!.. – Шигинсыз закрыл глаза и тяжело вздохнул.

А в окне вдруг показался белый голубь.

– Брат! – крикнула Жамал-апа. – Твой голубь прилетел!

– Где? Где? – Шигинсыз повернул голову к окну. – Только не спугни его... Апа, открой окно, апа!..

Старуха от удивления не могла встать с места. Голубь сильными крыльями бил в оконное стекло, и я распахнул форточку.

Голубь влетел в комнату, приземлился на тумбочке.

– Голубь мой, спасибо, что нашел меня, милый, – бормотал Шигинсыз.

«Я сучал без тебя все лето», – сказал голубь.

«Ты искал меня?»

«Искал, у меня крылья от тоски опускались...»

«Я тебе и раньше говорил, что живое тоскует по живому, но ты мне не верил...»

«Я не знал, что так бывает на земле...»

Старуха прямо на полу накрошила хлеба и налила в блюдце свежего молока.

– О Аллах! Как он мог разыскать нас в таком большом городе? – не переставала удивляться она.

– Это мой друг, – Шигинсыз опустил голубя на пол. – Я слышал, ты в дальнюю дорогу собрался? – повернулся он ко мне.

– Да, – сказал я.

– Как говорится, мир посмотреть и себя показать. – Я пожал плечами, что тут ответишь?

– Так пусть будет благословенным твой путь, карагым, – торжественно произнес Шигинсыз. – Нам, старикам, осталось одно – достойно умереть. Жизнь, она теперь ваша... Будь честным, ведь наш народ гордится своими честными сыновьями. А будет время – напиши мне: в чужом городе, среди чужих людей непросто жить, но не поддавайся одиночеству. Помни, что в Семипалатинске есть один старик, который думает о тебе...

– Спасибо, ага, – сказал я, сглотнув комок, застрявший в горле. – Есть такие слова у Абая, ты помнишь их?

Разум не дружит с богатством!
Богатство не льнет к красоте.
Хитрый, коварный обманщик –
По виду добр, но душой он враг.
Нет от него пользы народу.

...Теплый осенний подмосковный лес... Я подумал о том, что мне давно пора написать Шигинсызу. Мне пора написать Шигинсызу и пора написать о Шигинсызе. Кто, как не он, достоин этого?

Но меня тут же охватило волнение – смогу ли я рассказать вам всю правду о Шигинсызе, о родном крае, о моем отце, о его соратниках, прошедших в этой жизни огонь, воду и медные трубы? Сумею ли, хватит ли моих сил поведать вам о том, чего натерпелись они, наши отцы и матери, за свою долгую жизнь?

А сегодня мне приснился сон.

На белом коне восседает он во всем белом, мой старший друг Шигинсыз-ага. Он машет мне рукой и ясно-ясно улыбается. На его плече голубь, белый-белый голубь... Голубь дрожит от порывов влажного утреннего ветра... В синем небе высоко плывут журавли, и печально курлычет одинокая птица, отставшая от стаи либо потерявшая своего спутника в одном из камышовых болот моей милой родины.

ПРОДОЛЖЕНИЕ,

или Новые попытки Айдара Курманова дать волю своей памяти и фантазии

Отчего я проснулся, подумал он и насторожился, не слыша привычного шума машины и переключки вахтенных. В иллюминаторе посветлело, заря занимается, подумал он, но, взглянув на наручные часы, обнаружил, что времени всего лишь три с четвертью, до рассвета далеко, подумал он, но тут же понял – чудо северной природы, белая ночь, глядела в иллюминатор пароходика, на котором он плавал вот уже целый месяц, так и не привыкнув к этой молочной ночной белизне; но отчего же я все-таки проснулся, вновь подумал он, накинул пиджак и, на шарив тапочки, вышел на палубу; ни души, лишь медленно плывут по небу серебристые облака, и небо кажется высоким и недостижимым; пароход стоял у пристани близ какой-то безвестной деревеньки, и только сейчас он понял, отчего проснулся. Он проснулся от тишины; он стоял на палубе и курил. Он часто видел во сне родных людей, и ему с трудом верилось, что тишина может разбудить человека, чем дольше стоял на палубе, тем меньше верил в это, быть может, его разбудил чей-то голос, но чей голос прозвучит в столь позднее время, когда кругом такая тишина;

он скучал и по детям своим, и по матери, и по жене, ведь именно она подвигла его на эту дорогу, если бы не она, подумал Айдар, я не решился бы на путешествие, и все же – была она тогда в моей сторожке или нет? Написать? Спросить? Неловко, стыдно и незачем зря тревожить ее; первое время он ничего не писал и не чувствовал в этом никакой потребности, он жадно вглядывался, слушал

случайных своих попутчиков – соседей по гостинице, рыбаков, колхозников, командировочных, разный люд попадался ему в дороге, и он запоминал жесты, характеры, говор этих встречных; он стоял на палубе и курил. Неизвестно отчего, но ему вдруг вспомнился безыскусный рассказ простого семипалатинского старика, бывшего бухгалтера, чье лицо со временем стерлось, забылось, а вот голос его, резковатый, чуть-чуть обиженный, вновь зазвучал в этой северной тишине под высокими холодными облаками;

все это оттого, что я давно не видел своих детей, может, хватит колесить, может, настала пора вернуться, тревожно подумал Айдар Курманов;

нет, рано, месяц назад он вновь почувствовал неодолимую тягу к сочинительству, и, хотя это не было литературой в общепринятом смысле слова, а являлось лишь точной фиксацией увиденного и услышанного, он был доволен, ибо и этого малого было для него достаточно, чтобы внутренне окрепнуть и вновь поверить в силу свою и возможности; а отчетливый голос старого бухгалтера с забытым лицом постепенно обретал явь, заставляя Айдара вернуться к перу и бумаге, и, благословляя эту тишину, он снова дал волю своей памяти и фантазии.

ПРОТЕЗ

«И еще хочу сказать Вам, уважаемый товарищ секретарь, что не один уж год минул с того времени, как наши степные старики, сняв тымаки и тюбетейки, понакупили в магазинах драповых кепок, фетровых и соломенных шляп. Люди перестали промышлять охотой, так откуда же возьмутся норковые, собольи шапки, лисьи тымаки! Стоит казаху надеть тымак, как мы тут же морщимся: ах, как далек еще наш народ от культуры! Мы стыдимся этого человека, в лучшем случае поглядываем на него снисходительно. И тымак, и умение разводить коней, держать охотничьих птиц, собак – вещи вполне естественные для нас – ставятся как бы в противовес той культуре, которая приходит в аул вместе с горластыми артистами из передвижного автоклуба и умными лекторами. Говорят: «Кто победит? Одна злая собака или свора собак?» Побеждает большинство, потому что законы диалектики должны быть в гармонии со временем, но...»

На этих словах Тектыбай Абызулы, бессменно проработавший тридцать четыре года бухгалтером фермы «Алга» совхоза «Коммунист», остановился, призадумался, культей правой руки почесал лысую голову и снова склонился над столом...

Но только коснулся он пальцами здоровой левой руки листка в клеточку, вырванного из обыкновенной ученической тетради, как в комнату вошла его жена Кулпаш в одном нижнем белье. Щурясь со сна, она сказала:

– Ты что, анонимщиком решил прослыть на старости лет? Стоит ли из-за какой-то ерунды выходить из себя и поднимать шум на весь район? Давай-ка лучше спать ложись, тебе рано утром вставать, с отчетом ехать...

Тектыбай, как старый плененный беркут, встрепенулся, оторвался, жестко посмотрел на жену, и в свете керосиновой лампы блеснул его яростный взгляд. Жена выжидающе замерла. Она не знала, уйти ей или остаться. «Я не я буду, если твоей чертовой писанине дам попасть в райком!» – наконец решила она и не спеша направилась в свою комнату.

А Тектыбай ничего не сказал. Он вздохнул и стал писать дальше, придерживая ускользящий листок культей правой руки. Розовая культя вся была в чернилах, но он не замечал этого. Не до таких мелочей было Тектыбаю – мысли одна за другой теснились в его голове...

В полночь он закончил письмо, аккуратно сложил его и спрятал в левый карман своего парадного темно-синего костюма, который жена приготовила для завтрашней важной поездки. Закончил письмо и с чувством выполненного долга вышел на ночную улицу, размышляя о будущей своей беседе с секретарем райкома партии..

Бухгалтер фермы «Алга» встал вместе с зарей, а доярка Кулпаш и того раньше. Она уже ждала мужа к столу, заварила ароматный чай, который Тектыбай любил пить с молоком.

– Отправляйся, путь не близкий, – поторапливала жена.

– Мой сивый иноходец не подведет, – отозвался Тектыбай, смахнув крошки хлеба с длинных усов.

– Я коня уже оседлала. Ты где его оставишь, у племянника или у моего дяди? – спросила Кулпаш, вставая из-за стола.

– Пожалуй, у дяди. Старик еще в силе, толк в лошадях знает. Надо быть сумасшедшим, чтоб держать коня в гараже у племянника. У него там бензином воняет, сил нет, – сказал Тектыбай, надев костюм и закрепив на правой руке протез.

Мимходом он подумал, что зря положил бумаги в левый карман, вдруг срочно понадобится вынуть их, а он замешкается... Он пощупал карман, бумаги были на месте, карман даже вздулся – ведь кроме письма там был и отчет. Жена подошла к нему, чтобы подать плащ.

– Эй, что ты меня подгоняешь? – рассердился Тектыбай. – Не на пожар, в район еду...

Он сел на коня и вырвал из рук Кулпаш поводья. Кулпаш смотрела ему вслед. Она-то знала, почему так торопит мужа.

– Боюсь, на дойку опоздаю, – оправдываясь, крикнула она.

– Ну все, будь здорова, – Тектыбай повернул коня, но что-то вспомнил и вернулся.

Кулпаш испуганно затаилась.

– Где тымак, который я для секретаря приготовил? – гаркнул он, не слезая с коня.

Кулпаш обрадовалась, засуетилась, побежала.

– Сейчас, отец, сейчас...

Мигом вернулась с тымаком из рыжей лисы, отороченным синим бархатом, сунула тымак мужу за пазуху.

...Конь мчался по мерзлой осенней дороге. Тектыбай приосанился, сдвинул свой тымак на затылок рукоятью плетки-камчи, оглядывался по сторонам, желая, чтоб хоть кто-нибудь увидел его, лихого наездника, в этот ранний час. Но двери домов были закрыты, лишь дымок клубился над трубами. Может, шофер грузовика его заметил? Нет, и тот проехал мимо, обдав всадника густой пылью. Выругав про себя невоспитанного шофера, Тектыбай двинулся дальше в путь.

«...И я, как коммунист (в ряды партии вступил в 1941 году, 24 декабря, на разъезде Дубосеково), не могу молчать об этих упущениях в деле сохранения на-

циональной культуры, воспитания людей, особенно молодежи. Тем более, что такие печальные явления наблюдаются не только в нашем совхозе, они превращаются в общенациональный недуг. Мы должны крепко задуматься, иначе время жестоко отомстит нам...»

– Ой, не сносить ему головы, совсем из ума выжил старик, – бормотала Кулпаш, не зная, что еще можно сказать, ибо она ожидала от мужа чего угодно, но только не этого.

Дрожащими руками она раскрыла печную дверцу, но письмо, будто испугавшись огня, упало, не долетев до печи. Три раза пыталась она бросить письмо в огонь – три раза, как заколдованное, оно не долетало до печи. Тогда Кулпаш вернула письмо в чистую тряпицу и спрятала его на самом дне своего сундука.

В тот раз она была впервые бита мужем. Она шла с фермы после вечерней дойки. Тектыбай подъехал, развернул коня поперек дороги, спросил:

– Где письмо, мать твою?.. – и начал хлестать ее плетью. Кулпаш защищалась, прикрыв голову ведром, в котором плескалось молоко. Плеть заходила по ее спине. К счастью, женщины, которые шли с нею вместе, защитили ее.

– Культяпый! Урод! Какое еще письмо? Махал своей культей да и выронил где-нибудь! – кричала и плакала жена вслед Тектыбаю.

И Тектыбаю стало стыдно. «Может, и взаправду где сам потерял. Зря, наверное, я на нее руку поднял. Ой, зря!..» В сердцах он стегнул иноходца, и конь, которого никогда не касалась плетка, резко рванул вперед так, что Тектыбай едва не вывалился из седла...

С тех пор прошло лет десять. Тектыбай Абызулы этой осенью вышел на пенсию, оставил ферму «Алга» совхоза «Коммунист» и переехал на постоянное жительство в небольшой городок металлургов, километрах в пятидесяти от совхоза.

Три причины было у него, чтобы оставить свои места и оторваться от земли, на которой родился и вырос, но какая из них важнее, он, пожалуй, и сам бы не смог сказать. Причина первая: десять сыновей и две дочери, которых он, слава Аллаху, вырастил, закончили институты, техникумы, обзавелись семьями и разъехались по самым разным уголкам Казахстана. А старшая так и вовсе – опозорила Тектыбая перед всем народом, выйдя замуж за француза. Тектыбай помалкивал про старшую дочку, но разве от людей что скроешь? Он вот, например, никак не мог запомнить имени своего французского зятя, а люди знали: Маршель, говорили они, а по-казахски будет что-то вроде Максуда... Младший только и остался со стариками, он недавно из армии вернулся и нашел себе девушку в совхозе, а так разбежались дети в разные стороны. Шестеро из девятнадцати внуков у деда с бабушкой, но они подрастают, и сыновья хотят, чтобы их дети учились в городских школах. «Сами-то вы жили в ауле, и ничего, выросли людьми!» – ругался Тектыбай, да разве они послушаются? Вторая причина: сивый иноходец давно состарился, и он сдал его в совхоз. Все собирался купить другого коня, но такого породистого разве найдешь нынче?.. Охотой хотел заняться, да в степи теперь дичи – по пальцам пересчитать можно. В последнее время Тектыбай сильно задумывался и птиц, и зверей жалел гораздо больше, нежели людей. Вот и беркут издох прошлой зимой, одну лишь гончую привез он нынче с собой в город. Да и то оставил было собаку в ауле, а она на полпути догнала машину – ну как ее не взять? И третья причина: все тот же казахский тымак, из-за которого тогда так

досталось жене Тектыбай. У них в доме на стене поверх ковра висело восемь тымаков. Шесть из них выпросили прибывшие на побывку студенты, соседские дети. Седьмой забрал сын-геолог, он в Сибири работает, ему там холодно. А с восьмым тымаком случилась следующая история. Этой осенью все тот же секретарь райкома прислал в аул своего шофера. «Когда-то старик хотел дать мне тымак, пусть теперь даст», – велел передать он. И Тектыбай снова вспомнил прошлую их встречу, брезгливое лицо секретаря и его слова: «Простите, аксакал, но я – руководитель. Интеллигентному человеку нельзя носить тымак, я вполне обойдусь своей шапкой...»

– Он не принял моего подарка, а теперь спохватился, да поздно, – сказал Тектыбай шоферу.

– Прошло время, когда тымак никому не был нужен, – сказал говорливый шофер. – Теперь наш тымак в моде.

– Да ну? – удивился Тектыбай.

– Мода, – заулыбался шофер. – Наш тымак всю Европу завоевал. Говорят, эту моду французы выдумали, говорят, теперь весь мир в тымаках ходит...

– Ну уж, весь мир... – усомнился Тектыбай.

«Я же говорил, говорил тогда, что национальные традиции нужно беречь, как зеницу ока. А сейчас получается, что французы изобрели казахский тымак, ну разве это не ерунда? Французы, французы... Видал я этих французов в сорок четвертом году, откуда у них тымаку взяться? Стой... – восторженно воскликнул он. – А что, если эту моду наша Айша-жан выдумала? Она ведь рукодельница отменная! Они... Айша-жан и этот, как его, Маршель–Максуд... Мишель, вот как его зовут. Они ведь, Мишель и Айша, увезли с собой по тымаку... – Впервые за последние годы Тектыбай думал о дочери тепло и с умилением: – Молодец, Айша-жан. Ты, как у нас в пословице говорится, луну на небе зажгла! А было время, когда вы пугались человека в тымаке, будто это не человек, а чудовище какое-нибудь», – злорадно подумал он неизвестно о ком.

– Так что мне передать секретарю? – спросил шофер.

– Что слышал, – сердито ответил Тектыбай и ушел в дом.

Вот и третья причина его отъезда. Ну чем не причина? Вы скажете, что здесь нет логики, а я скажу, что логика во всем есть.

* * *

Только теперь поняли Тектыбай и Кулпаш, что не совсем это просто, привыкнуть к городской жизни. Нет здесь того покоя, который царит в ауле, люди суетятся, толкаются на улицах, вечно куда-то спешат, спешат...

Когда они только-только переехали в город, Тектыбая не покидала тайная надежда, что хоть кто-нибудь из их громадного дома догадается пригласить его на ерулик. Но этого не произошло. Переехали они или нет, живут на белом свете или померли, никого из соседей не интересовало. Тектыбай переживал, но что он мог поделать? «Провалилась она, городская жизнь!» – выругался он про себя, но не такой это был человек, чтобы долго унывать.

И вот что он придумал. Он взял тетрадь, авторучку и решил обойти все семьдесят квартир дома, чтобы и с соседями поближе познакомиться, и в гости их к себе пригласить. После работы зашел в парикмахерскую, подстригся, подправил усы, надушился дорогим одеколоном, а придя домой, даже нацепил галстук.

Галстук, кстати, был что надо, его Айша-жан из Франции прислала, правда, к такому галстуку и костюму, наверное, требовался подходящий, но последнее Тектыбая мало волновало.

С тремя соседями своего первого этажа он все-таки был мало-мальски знаком, поэтому начал свой обход прямо со второго этажа. Поднимаясь по лестнице, он еще раз поправил галстук, снял с плеча нитку. Громко откашлялся и несколько раз нажал кнопку на двери слева

Дверь открылась. Перед ним стоял рослый молодой мужчина. Тектыбай снова поправил галстук.

– Ассалаумагалеikum! – поздоровался он по-казахски. А затем добавил по-русски: – Здравствуйте, сосед!

Мужчина молча кивнул и ушел в комнату. Тектыбай направился вслед за ним. Мужчина сел в кресло и стал набирать номер телефона, на Тектыбая, замершего в дверях, он не обращал ровным счетом никакого внимания, и Тектыбай стоял в нерешительности. Мужчина в раздражении бросил трубку.

– Часами на телефоне висят! И о чем только могут трепаться люди, – пожаловался он. Нервно встал, прошелся, удивленно посмотрел на Тектыбая и вдруг спросил:

– Почему не садишься?

«Характер скверный, и с людьми, наверное, груб», – подумал Тектыбай.

– Спасибо, – сказал он, степенно усевшись на стул, и только хотел начать разговор, как мужчина снова вскочил и убежал в другую комнату.

Было слышно, как потекла вода из крана. «Он, наверное, на кухне», – подумал Тектыбай и пошел на кухню. Мужчина пил из стакана воду. Выплеснув остатки воды в раковину, он повернулся и вдруг снова резко спросил Тектыбая:

– Почему не садишься?

Тектыбай рассердился.

– Эй, не кричи на меня! Как ты разговариваешь с человеком, который тебе в отцы годится? Ты что, на балконе барашка держишь и боишься, что его придется резать, чтобы меня угощать?

«Кто этот злой старичок, лысый и маленький, как головка от коленвала?» – мельком подумал мужчина и прошел в ту комнату, где был телефон. Он снова снял трубку и принялся накручивать диск.

– Эй, да ты и впрямь невежда. Я ж к тебе как к соседу пришел! – громко сказал Тектыбай, потеряв терпение.

Но слова его повисли в пространстве, ибо мужчина по-прежнему не обращал на него внимания. Вновь и вновь набирая номер, он, мельком глянув на старика, что-то пробормотал. «Почему не садишься?» – послышалось Тектыбаю, и, махнув рукой, он вышел из странной квартиры.

Бывший бухгалтер хотел напоследок обругать негостеприимного хозяина, но его вдруг осенило – да здоров ли этот человек? И, нажимая на кнопку у соседней двери, он уже жалел его: «С виду такой здоровяк, а на самом деле, наверное, тяжело болен, бедняга! Тяжело приходится семье, когда кормилец ее в таком состоянии...»

Дверь раскрылась. На пороге стояла совсем еще юная девушка.

Тектыбай от неожиданности растерялся.

– Вы к кому? – спросила девушка.

А Тектыбаю откуда было знать «к кому», когда на миг он даже забыл, зачем сюда пришел. Девушка с интересом разглядывала чудаковатого пожилого улыбающегося человека. Потом засмеялась и прошла в комнату.

– Мама, там вас симпатичный кавалер дожидается, – услышал Тектыбай ее голос и смех.

Окончательно смешавшись, он почувствовал, что галстук душит его, и дрожащими руками стал рвать узел. В это время в коридоре появилась мать девушки высокая белолицая женщина средних лет с красивыми рыжими волосами, свободно ниспадающими на плечи. Она пригласила его в комнату, где девушка, увидев Тектыбая, снова засмеялась и убежала, прикрыв рот ладошкой.

– Я ваш новый сосед, – представился Тектыбай. – Мы на первом этаже живём, в третьей квартире.

– Проходите, пожалуйста. – Женщина указала на стул. Голос у нее был мягкий, приятный. – Знаем-знаем.. Я видела вас. Пожалуйста, присаживайтесь...

– Спасибо, я постою, – пробормотал Тектыбай.

– В ногах правды нет... – Женщина чуть не силком усадила незваного гостя.

Тектыбай вынул авторучку, раскрыл тетрадь и вывел: «Квартира №6».

– Прошу сообщить мне вашу фамилию, имя, отчество, – сказал он.

– Зачем вам это? – удивилась женщина.

– Говорят, лучше знать по имени одного, чем в лицо тысячу. – Тектыбай, довольный своей находчивостью, с улыбкой глядел на женщину. – Мне нужно с вами познакомиться.

Лицо женщины чуть порозовело...

– Вы знаете, у меня нет времени для шуток.

Улыбка Тектыбая мгновенно погасла.

– Простите, вы меня не так поняли. Как-то неудобно получается – живут люди в одном ауле и не знают друг друга по имени, – начал оправдываться он.

– В каком еще таком ауле? – На этот раз в ее голосе уже не было неприязни.

– То есть в одном доме, – поправился Тектыбай. Он встал и торжественно представился: – Тектыбай Абызулы. Будем знакомы.

– А я – Клавдия Николаевна Чепурова.

– Сейчас, сейчас... Как вы сказали? – Тектыбай склонился над тетрадкой.

– Дайте я сама запишу, – остановила его женщина.

Тектыбай глянул на запись в тетради, прокашлялся и сказал:

– Итак, Клавдия Николаевна, в следующую субботу мы ждем вас в гости.

Приходите часов в пять.

– О! – снова удивилась женщина – Спасибо! Но ведь мы еще так мало знакомы, наверное, это будет неудобно.

– Как это мало знакомы? – обиделся Тектыбай.

– А разве нет? – засмеялась женщина

– Чтобы хорошенько познакомиться, люди должны ходить друг к другу в гости.

Мы вас будем ждать, Клавдия... – Он снова попытался заглянуть в тетрадку.

– Николаевна, – подсказала женщина

– Да... Николаевна... Точно! – подтвердил Тектыбай. Он церемонно поклонился и вышел.

В седьмой квартире на втором этаже, по-видимому, никого не было. Во всяком случае, дверь Тектыбаю не открыли, и он позвонил в восьмую квартиру.

– Входи, не заперто, – услышал он чей-то голос.

Он зашел. И увидел через застекленную дверь двух мужчин, расположившихся за кухонным столиком.

– Не стесняйся, проходи... – Щуплый мужчина в майке встал из-за стола навстречу Тектыбаю.

«Видать, ровесником мне будет», – отметил про себя Тектыбай и не ошибся. Буквально через секунду выяснилось, что они с Иваном Сергеевичем, так звали хозяина квартиры, даже на одном фронте воевали...

– Моя Захаровна на работе, так мы, пока ее нет, вот... решили бутылочку раздавить с Михал Михалычем, – признался Иван Сергеевич и подмигнул Тектыбаю.

– Ну, за встречу фронтовиков!

Иван Сергеевич и Михал Михалыч опрокинули стаканы.

– А ты почему не выпил? – удивился хозяин.

– Я водку не пью, – сказал Тектыбай.

– Тогда выпей вина. Михал Михалыч, доставай красненькое.

– Я и вина не пью...

– Вот это да! – присвистнул Михал Михалыч, но все же вынул из сумки с инструментом бутылку и лихо, со стуком выставил ее на стол.

– Ты и на войне не пил? – спросил хозяин.

– На войне не пить нельзя, Иван Сергеевич! Правильно я говорю? – вмешался в разговор Михал Михалыч.

– Ты помолчи, когда мы воевали, тебя, поди, и на свете-то не было, – осадил его мужчина в майке.

– Вы воевали, а мы вашего возвращения ждали, – нашелся Михал Михалыч.

– Ловко сказал, да? – подмигнул Иван Сергеевич Тектыбаю. – Жаль, недоучился наш Михаил, поди, в сантехниках всю жизнь и проходит. А так он башковитый, наш Михал Михалыч...

– Ваш Михал Михалыч! – перебил его сантехник. – Ваш Михал Михалыч, если бы на фронт попал, то непременно до полковника дослужился, и это еще в самом худшем случае. Не то что ты, Иван Сергеевич, за пять лет еле-еле сержантом стал... – Он громко засмеялся, показывая желтые, прокуренные зубы.

Не нравился он Тектыбаю.

– Хватит тебе гоготать, дай слово гостю, – урезонил расходившегося парня Иван Сергеевич.

– На войне пили, почему не пить? Я и после войны пил, но десять лет назад так этой водки набрался, что с тех пор видеть ее не могу!.. – Тектыбай помолчал. – Жену свою в тот день плеткой избил, а обычно я ей слова худого не скажу... Была, конечно, на то причина, без причины ничего не бывает, но с тех пор я и не пью... – Тектыбай поднялся, считая, что далее ему сидеть неловко. – Ну, Ваня, до свидания, спасибо за угощение, в субботу ждем тебя. Приходи в пять, не опаздывай...

Прощаясь, он протянул левую руку, и Иван Сергеевич все мгновенно понял.

– А правую что, фашистам оставил? – спросил он.

Тектыбай молча кивнул.

– Правая – плохо, хоть бы левую отняли, что ли, – пожалел Тектыбая Михал Михалыч.

– Наоборот, я спасибо сказал тому стрелку, ведь я левша, – засмеялся Тектыбай.

– Если тот фашист-стрелок жив, ты должен ему посылку из темиртауских угощений послать, – загоготал Михал Михалыч, хлопая себя по ляжкам.

– Постой-постой, друг Тектыбай, на какой день ты меня приглашаешь? – переспросил Иван Сергеевич.

– На субботу. Приходите с женой. Я вас со своей старухой познакомлю...

– Суббота... Суббота – это двадцать четвертое, – сообразил Иван Сергеевич. И, подумав немного, сказал: – В этот день моя жена работает в вечернюю смену...

Тектыбай, ты не будешь против, если я приведу с собой Михал Михалыча?

– Нет, не буду, – солгал Тектыбай.

Иван Сергеевич подчеркнул в календаре двадцать четвертое число.

– Ты почему за неделю вперед приглашаешь? Так ведь и забыть можно, – обратился он к Тектыбаю.

– Мы в ауле и за месяц вперед гостей зовем. Я, наоборот, думал, что поздно...

Михал Михалыч громко рассмеялся.

– Да он в гостях-то, наверное, раза два за всю жизнь был, ведь правда, Иван Сергеевич?

Хозяин квартиры покраснел, не зная, что ответить.

– Чего краснеешь? Это же правда, – подзуживал его сантехник.

– Можно подумать, что ты каждый день по гостям разгуливаешь.

– Сейчас вспомню... Да... Я когда пришел из армии и мы поженились с Валею, нас два раза к себе ее братья приглашали. – Михал Михалыч что-то подсчитал на пальцах. – И минуло тому девять лет.

Тектыбай еще раз посмотрел на них, на их стол с недопитым вином, и у него сжалось сердце.

Почти всех жителей своего подъезда пригласил он на будущий той. Лишь старуха на пятом этаже не только не открыла ему, но даже и слушать его не желала.

Если хочешь со мной поговорить, звони по телефону.

– Но мы только переехали, у нас еще нет телефона...

– А ты не спеши, когда поставят, тогда и позвонишь.

– Ох ты, голова, голова. – Тектыбай опять нажал на кнопку ее звонка, желая объясниться.

– Милиция! Милиция! Грабят! Милиция! – завопила старуха из-за двери.

Тектыбай плюнул с досады и направился по лестнице вниз, собираясь пригласить в гости и весь второй подъезд, но на втором этаже его ожидал сюрприз. Дверь того самого странного парня, который все твердил: «Почему не садишься», распахнулась, и сам он кубарем вылетел на площадку.

– Сын! – завопил он. – У меня сын родился!! Идем, папаша, идем ко мне!.. Нет, стой, надо и Иван Сергеевича пригласить...

Тектыбай не успел ничего ответить, а счастливый отец уже стучался в соседнюю дверь. «Я этого молчуна принял за больного, а он, оказывается, потому такой был ненормальный, что до роддома не мог дозвониться! Ну что за люди – такого мужика чуть с ума не свихнули...»

На площадке появилась веселая компания. Впереди – «молчун», за ним Иван Сергеевич и Михаил. Увидев Тектыбая, он полез к нему целоваться.

– Батя! Родной! – расчувствовавшись, лепетал он. – Ты меня зови, когда кран у тебя сломается, света не будет – зови, замок защелкнешь – зови... Я тебе все в порядок приведу, у тебя все как часы работать будет...

«Кто он на самом деле? Мастер или пропойца? Как же получается, что вроде бы хороший человек так пьет?» – задумался Тектыбай.

А Михаил, словно читая его мысли, вдруг сказал спокойно.

– Ты не думай, батя, что я всегда такой... Это я сегодня... А так я – мастер на все руки. Я своими руками все могу сделать. Ты «Левшу» читал?

– Зачем мне «Левшу» читать, когда я сам левша, – ответил Тектыбай.

К тому времени они уже сидели за столом, и все мужчины рассмеялись в ответ на его незамысловатую шутку. А громче всех заливался счастливый «молчун».

– Мужики! – вдруг удрученно сказал он, открыв дверцу холодильника. – Осечка вышла. У меня тут вчера бутылка стояла, а сегодня нету.

– Подожди, не суетись, – остановил его Тектыбай. – Давай хоть познакомимся сначала. Я – Тектыбай. А тебя как зовут?

– Что ты, Тектыбай, каким-то формализмом занимаешься? Не задерживай человека. Выпьем, тогда и знакомиться будешь, – недовольно сказал Михаил.

– И ты не суетись, – оборвал его Тектыбай.

– Меня зовут Володя... То есть Владимир Тимофеевич. Смирнов моя фамилия, – сказал «молчун».

– Прекрасно. А теперь сядь и выслушай меня...

Михал Михалыч, поглядывая на Тектыбая, стал делать знаки Ивану Сергеевичу. «Откуда взялся болтливый старикан? И почему он все время командует?» Этот простой вопрос красноречиво выражала его мимика, но Иван Сергеевич, много чего повидавший на своем веку, только подмигнул ему в ответ: «Спокойно, парень. Наше поколение, прошедшее огонь, воду и медные трубы, знает, что делает».

– Я быстренько в магазин, я сейчас, – нерешительно сказал Володя.

– Сядь, – повторил Тектыбай, и тот послушался. А Тектыбай встал, ростом он оказался не выше сидящего на стуле Смирнова, но Тектыбая это не смутило. – Ну, дорогой Володя... Поздравляю тебя с новорожденным! Пусть будет он счастлив, здоров – говорю тебе я, Тектыбай, отец двенадцати детей и дед девятнадцати внуков.

– Во дает батя! – присвистнул Михаил, как бы заново разглядывая Тектыбая.

– Мы встретились в радостный для тебя день, и я всех вас зову к себе. Пососедски, так что не стесняйся, Володя-жан. Но перед этим я отведаю и твоего хлеба-соли...

Тектыбай отломил кусочек хлеба и съел его, после чего повел всю компанию в свою квартиру.

В тот день он подарил на суюнши Володе Смирнову свой последний, восьмой тымак.

– Глупый человек, – сам-то в чем ходить будешь? – ворчала старуха.

– Все от Бога. Бог дал – Бог взял, авось снова даст, – успокаивал он ее, и слова его оказались пророческими.

Всю неделю он принимал соседей по дому, потчевал их, вступал с ними в длинную беседу, и видно было, что весь этот ритуал доставляет ему удовольствие, что

он искренне рад знакомству с таким количеством новых людей. Из аула приехал племянник Сулеймен, на долю которого тоже досталось изрядное количество хлопот по обслуживанию гостей его дядюшки. Он-то и привез в подарок Тектыбайу новый тымак, который был сшит по заказу у знаменитой совхозной мастерицы Салимы, за что ей было уплачено целым барашком.

Тымак этот пришелся как нельзя кстати. Наступили холода, задули пронзительные ветры Темиртау. Завязав уши тымака, Тектыбай пешком шел на комбинат. Никак он не мог привыкнуть к грохочущему, битком набитому трамваю, от которого его тут же начинало мутить, стоило ему оказаться в этом скопище толкающихся, сердитых людей.

Сам он понемногу освоился в городе, и теперь его беспокоила только старуха. «Заточил ты меня в каменный мешок, – плакала и ворчала она. – Жили мы в ауле, не тужили, так нет же, понесло дураков на старости лет в город».

«Вот-вот... Это она в своем репертуаре. Все думы ее об ауле, о нем только и мечтает, о нем только и говорит... – Тектыбай хорошо понимал состояние своей жены. – Со временем привыкнет, как я привык, – размышлял он. – Тем более что у внучат занятия в школе начались, и не очень-то много времени у нее будет, чтобы грустить и вспоминать».

И он оказался прав. Заботы поглотили все свободное время Кулпаш. Еще бы, шестеро внуков в доме – не шутка! И в школу их нужно проводить, и вовремя накормить, спать уложить, а на родителей надежда слабая. Вечно они в делах, вечно в разъездах...

Сам он, чтобы убить время, часами играл во дворе в домино. Но пришла зима, двор опустел, и Тектыбай маялся, не зная, чем заняться. Здешние жители увлекались подледным ловом. Каждый рубил себе дырку во льду и подолгу сидел над нею с короткой удочкой. Однажды и Тектыбай сходил на рыбалку вместе с Иваном Сергеевичем, но это его не увлекло. Сидение горожан над лункой, как над горлышком от чайника, ему, привыкшему иметь дело с хорошим конем, гончей и быстрокрылой птицей-беркутом, казалось детской забавой, недостойной настоящего мужчины.

Рыжей гончей городская жизнь тоже не пошла впрок. Там, в ауле, она вволю бегала, резвилась, охотилась, а теперь лишь тоскливо скулила, с нетерпением ожидая, когда наконец откроется заветная дверь на улицу. Тектыбай крепился. Нелегко было ему расстаться с гончей, которую он взял щенком, к которой привык больше, чем к другу, но выхода не было, и он отправил ее обратно в аул с племянником Сулейменом. Сулеймен, сам заядлый охотник, обрадовался как мальчишка, когда узнал, что собака теперь принадлежит ему. «Во сто крат дороже отдалился дядюшка за мой тымак», – все время повторял он.

Шло время. Как-то раз, в сумерках, Тектыбай и Иван Сергеевич вместе возвращались домой, тихо беседуя о том, о сем. Говорили они чаще всего о войне, о боях, сражениях, а иногда о девушках, женщинах, которых встречали на своем долгом пути от Москвы до Берлина. Тектыбая не очень-то увлекали «амурные» истории, зато Иван Сергеевич, прослуживший после войны два года в комендатуре на востоке Германии, мог говорить на эти темы бесконечно. И сам он при этом менялся. Лихо выкатывал грудь, глаза его блестели, розовели щеки, походка менялась, и этот пожилой человек вдруг начинал пританцовывать, точно иноходец перед скачкой.

Вот и сейчас он снова завел одну из своих бесконечных баек, где правда мешалась с вымыслом в пропорции, известной лишь самому рассказчику. Тектыбай наклонился, чтобы завязать шнурок на ботинке, а тот и не заметил, что его слушатель отстал.

– Так вот, я и говорю, такой красавицы я нигде не видел. Кожа у нее мягкая, нежная, как шелк...

Дальше Тектыбай уже ничего не слышал. Кто-то с размаху налетел на него и сбил с ног.

«Ой!» – только и успел он крикнуть. Иван Сергеевич обернулся на крик и бросился к другу, подобрав на земле кирпич. Ему показалось, что огромная, как волк, собака ухватила Тектыбая за горло. Он размахнулся и услышал торопливый возглас Тектыбая:

– Не трогай! Стой! Это же моя рыжая!

Иван Сергеевич опустил занесенную руку и разжал пальцы. Кирпич упал. Собака ластилась к Тектыбаю, он обнимал ее, шептал ей какие-то одним им известные слова. Иван Сергеевич покачал головой...

А вечером того же дня Тектыбай устроил небольшой той в честь возвращения рыжей. За столом кроме хозяев сидели Иван Сергеевич со своей Татьяной Захаровной и еще одна пара, молодые казахские ученые, муж и жена, что жили в третьем подъезде.

Тектыбай сиял, как именинник, но еще больше радовались неожиданному появлению гончей его внуки. Да и остальные гости поражались уму и сметливости степной собаки. Надо же – пробежала пятьдесят с лишним километров и все-таки нашла хозяина в городе.

– Такое только в книгах можно встретить, – начала было Татьяна Захаровна, но ее тут же перебил муж.

– Не в книгах, а по телевизору. Ты, наверное, забыла, когда последний раз книгу в руки брала, а от телевизора тебя тягачом не оттащишь!

– Нашелся грамотей! – рассердилась Татьяна Захаровна, недовольная, что муж подшучивает над ней на людях.

Иван Сергеевич заметил, что жена сердится, но был уже не в силах унять ее.

– Моя Захаровна говорит про кино, это, ну, где про собаку... Там еще Штирлиц в главной роли.

– Да не Штирлиц, а артист Тихонов! Вот до чего ты темный мужик, Иван! – рассмеялась Татьяна Захаровна, довольная тем, что отплатила мужу за недавнюю подначку.

– А как этот фильм называется? – спросил Иван Сергеевич жену.

– Я не помню. Чудное какое-то название, – снова смутилась она

Все задумались, вспоминая название фильма, где «про собаку». Рыжая гончая, точно чуя, что разговор начался с нее, подошла к Тектыбаю, потерлась о его колени и легла у ног.

– «Белый Бим Черное ухо», – вспомнил наконец молодой казах-ученый.

– Точно. И поставлен он по роману Гавриила Троепольского, – подтвердила его красавица жена. – Хотите, я дам вам почитать? По-моему, книга интереснее фильма, – обратилась она к Татьяне Захаровне.

– Спасибо, я обязательно прочитаю... Я когда кино смотрела, даже плакала, такое трогательное кино...

Тектыбай тоже видел этот фильм по телевизору. Он вспомнил, как его гончая, увидев на экране собаку, быстро села на задние лапы и, настороженно выпрямившись, следила за каждым движением Черного уха...

– Милая, а на казахском языке нет такой книги? – спросил Тектыбай.

– Я что-то не встречала, наверное, еще не перевели, – ответила молодая женщина. – Но если она мне попадется, я вам ее принесу...

– Живи тысячу лет, доченька! Наш Тектыбай любит читать! – сказала Кулпаш.

– Казахи уважают животных, так почему бы сразу не перевести для нас такую книгу? Ох и ленивый да нерасторопный мы народ! – выразил свое недовольство Тектыбай.

С тех пор как вернулась рыжая гончая, жить Тектыбаю стало значительно веселее. Раньше с наступлением сумерек он не знал, куда себя девать, злился от безделья. Теперь же, придя с работы, брал собаку и шел на прогулку. Или заходил к соседям. Его привычка ходить по квартирам сначала казалась им забавной и оригинальной. Ну, а дальше известно, как бывает... Частые визиты Тектыбая надоели соседям, и ему просто-напросто перестали открывать двери. Сердились на него большей частью женщины и молодежь этого пятиэтажного дома. Коренные горожане, они жили по раз и навсегда заведенному распорядку: после работы ужинали, затем садились к телевизорам. Умом Тектыбай понимал, что уклад их жизни отличается от того, к которому он привык в ауле, но не зря говорится: привычка – вторая натура. Он снова и снова стучался к соседям, даже и не подозревая, что они думают о нем. Однажды Кулпаш сказала ему:

– Тектыбай, перестань ходить по квартирам. Ты, видно, забыл, что мы в городе живем.

– Какая разница? Город, аул... Человек всюду человек.

– Так-то оно так. Да люди в городе после работы отдохнуть хотят, и у каждого есть свои дела...

– Разве я лезу в их дела? Разве я кому мешаю?

– Если б не мешал, люди бы про тебя не говорили...

– Кто?.. Что люди говорят?.. Эх, боже мой, неужели совсем помешался народ? Неужели им не нравится, когда к ним в гости приходят?

– Кому нравится, а кому не очень. Так что сиди-ка лучше дома, как все люди. А если тебе приспичит поговорить, говори со мной... Я тебя не съем...

– Ну а кто же все-таки про меня такое болтает? – сердито спросил он.

– Здешние. Кто же еще? Сегодня в магазине Володина жена сказала, что ты им хуже горькой редьки надоел. У них ребенок грудной, да и Володю теперь начальником цеха сделали, он весь измотанный приходит после смены, а тут ты являешься со своими рассказами...

Тектыбай смутился. Подобного оборота событий он никак не ожидал. И ведь это тот самый Володя, которого он привел в дом, чтобы отметить рождение его ребенка. Наверное, все-таки дело не в Володе, а в его жене. Володя – парень хороший и Тектыбая уважает.

– А что говорит жена того молодого ученого?

– Говорит, что мы им не ровня. Что ее муж докторскую какую-то пишет, что ли... Или какая другая важная работа у него... В общем, просила, чтобы ты его не отвлекал...

У Тектыбая внутри похолодело. Этот молодой казах всегда с интересом слушал его истории, вмешивался в их бесконечные споры с Иваном Сергеевичем.

– А что сказала Иванова жена? – Тектыбай с особой симпатией относился к Татьяне Захаровне и надеялся, что ей он тоже приятен.

– Сказала, чтоб ты к ним больше не ходил.

– Как?.. – На Тектыбая будто ушат холодной воды вылили.

– Так!.. Оказывается, Иван испортился с тех пор, как вы с ним подружились. Вот погоди, она еще спросит с тебя за Ивана!

– Да что это за люди такие!?! – Тектыбай в отчаянии грохнул протезом по столу.

Конец месяца, обычные суматошные дни. Тектыбай задержался на работе, настроение у него было подавленное, он злился на себя и ругал детей – надо же, распорядились, чтоб внуки учились в городе, а он их послушался. Вот и попробуй теперь разобраться, кто прав, кто виноват...

Всю прошлую ночь рыжая гончая лаяла и жалобно скулила. Он несколько раз вставал, подходил к ней, гладил. Она смотрела на хозяина жалобными глазами, клала голову ему на колени и снова скулила. «Никак, заболела собака. Может, зря не отдал я ее Сулеймену, когда тот второй раз приезжал? Тоскует она по вольной степи, по настоящей охоте, не по душе ей каменный город!» – сетовал он, качая головой.

И вот ведь ерунда какая – столько мыслей приходит на ум, а с кем ими поделиться? И с кем здесь посоветоваться? Городских мужчин он прекрасно знает, все они под каблуком у своих жен. А что хорошего, если женщина командует в доме? Ничего в этом нет хорошего, ибо мысли ее чаще всего заняты мелкими хлопотами, дрязгами, заботой о том, где бы купить модную красивую вещь. «Почему эти мужики ничего не понимают? – сердился он. – Каждое утро жены дают им по рублю на обед, а они и рады, бестолковые. Что это за мужчина без денег в кармане?.. – Он подумал о своих сыновьях. – Тоже, наверное, как эти, с рублем в кармане ходят. Надо бы порасспросить их, хоть и не очень это удобно. Нет, в их семьях такого быть не может. Жены у них славные, работающие, толковые, – успокаивал он себя. И все же мысль о том, как живут его дети, не давала ему покоя. – Хорошо бы к старшему съездить в Алма-Ату. Отпроситься на три дня да и поехать». Его отпустят. Собаку он отправит в аул, к Сулеймену, а сам возьмет да слетает в Алма-Ату, навестит сына, давненько он его не видел... Знал только, что последние годы он занимает крупный пост в каком-то важном учреждении, а в каком – забыл.

Дав волю своим мыслям, он немного успокоился и стал прикидывать, с кем бы ему отправить в аул собаку. «А может, Сулеймен снова приедет, чтобы ее забрать? Неясно. В тот раз он уехал обиженный. Гордый парень Сулеймен, – подумал Тектыбай, – гордый, как и все джигиты из нашего рода...»

Он зашел на Главпочтамт и отправил две телеграммы. Одну – Сулеймену в аул, чтоб ехал за собакой. Другую – сыну, в Алма-Ату. «На днях буду. Жди», – написал он. Маленький, подвижный Тектыбай никогда не успокаивался, пока не осуществлял задуманное.

Выйдя с почты, он напрямиком направился домой, по дороге рассуждая, что если Сулеймен завтра к вечеру будет в городе, то послезавтра утром он, Тектыбай, улетит в Алма-Ату. «Кстати, хорошо бы заранее взять билет на самолет», – по-

думал старик, глянув на часы. Было около семи, и он свернул к кассам Аэрофлота. Кассирша уже собралась уходить и билета Тектыбаю не продала, тем более, сказала, что без паспорта нельзя.

– Не беспокойтесь, билеты есть, завтра возьмете, – заверила она.

Тектыбай попрощался и вышел. Дул холодный западный ветер, и Тектыбай опустил уши тымака. Он миновал центральную улицу, прошел между домами, свернул в слабоосвещенный переулок и снова подумал о собаке и ее болезни «Надо чего-нибудь перекусить и вывести ее на свежий воздух, может, полегче ей станет...»

Занятый своими мыслями, он и не заметил, как трое парней встали на его пути. Он услышал слово «тымак», когда сильная рука сорвала с его головы лисью шапку. Оглянувшись, он левой рукой схватил за ворот ближнего парня и повалил его на землю. «Молодой еще, драться не научился, – мелькнуло у Тектыбая. Другие двое, уже изготовившиеся бежать, увидев, что их товарищ лежит, рванулись к Тектыбаю. Дрались они молча и свирепо. Эти двое были сильнее и опытнее, им дважды удалось свалить старика... Но разве Тектыбай зря был разведчиком на войне? Может, и потерял он былую легкость, гибкость, но уж что-что, а драться умел. Мертвым ударом в солнечное сплетение он уложил одного из нападавших. «Ах!» – только и выдавил парень, схватившись за живот. Была бы правая рука у Тектыбая, худо пришлось грабителям. А так... – здоровенный парень ухватил его за воротник, и они замерли, дыша друг другу в лицо. Тектыбай мог вырваться и убежать, но ему было жалко оставлять тымак этой шпане. Чуть отступив, он пнул парня, и тот, падая, увлек его за собой. Но Тектыбай быстрее, чем его противник, поднялся на ноги. В это время тот, самый молодой, вцепился ему в правую руку. Тектыбай попытался вырваться, но держали его крепко. Валявшийся на земле парень схватил его за ногу, а кто-то, по-видимому третий, сильно ударил его, так, что голова у Тектыбая закружилась. «Собаки! Сзади бьют!» – лишь успел подумать он. Молодой рванул его правую руку, и... из рукава пальто Тектыбая выскочил протез.

Хлопнула резинка, на которой он держался, и вылетел протез быстро, как снаряд из пушки. Парень испугался, послышался его безумный вопль, и он рванул прочь. Его «коллеги» последовали за ним...

Говорят, беда одна не приходит, подружку с собой ведет. В тот вечер, когда он лишился тымака и протеза, издохла его любимица, рыжая гончая. Не лаяла она, как прежде, и даже не скулила. Она молча испустила дух, и Тектыбай утром нашел ее мертвой. От вчерашних побоев у него болела голова, он поднялся ни свет ни заря и пошел в ванную, чтобы сунуть голову под кран с холодной водой, а проходя мимо, наступил гончей на лапу. Он держал голову под ледяной струей и вдруг сообразил, что собака не издала ни звука. «Рыжая!.. Не может быть!..» Тектыбай, забыв вытереть голову полотенцем, кинулся в коридор. Точно!.. Собака была мертва, и тело ее уже остыло. «Рыжая, рыжая! Друг ты мой! Я тебя выхаживал своими руками, я тебя охотиться научил, помощница ты моя милая!..»

Они с Иваном Сергеевичем похоронили гончую далеко за городом.

– Два года назад я без беркута остался, а теперь и рыжей нет, – сказал Тектыбай, надвинув на глаза свой старый малахай. – Скоро и сам, наверное, помру.

– Брось ты такие мысли... Помнишь, ты хотел меня на охоту взять? Обещал показать, на что способна твоя собака?

– Какая нынче охота? Разве можно охотиться без быстрого коня, беркута? Дурость это, а не охота, Ваня...

Ветер развеивал его пустой правый рукав, и Тектыбай заткнул его в карман. Они возвращались пешком, медленно шли по заснеженным улицам.

– Надо большим мастером быть, чтоб охотиться с птицей и собакой, – сказал Иван. – Жалко, не пришлось посмотреть на такую охоту.

– Конечно, тут умение нужно немалое, – отозвался Тектыбай. – Толковых охотников становится в степи все меньше и меньше. Вот что мне покоя не дает...

– Зайдем ко мне, посидим, – пригласил Иван.

– Твоя жена мне запретила к вам приходиться. А тебе спасибо за доброе отношение. До свидания, – коротко попрощался Тектыбай.

– Ты что бабью болтовню слушаешь?! К тому ж она сейчас на работе. Идем, а?

Они пришли к Ивану.

– Располагайся, – сказал он.

Айдар несколько раз пытался дописать этот рассказ, но что-то, он и сам не мог понять, что именно, мешало ему его закончить. А потом он и вовсе забыл про Тектыбая.

Все лето он разъезжал по маленьким северным городам России, где не то чтобы «собирал материал», а просто жил, глядел, пытался писать, ночуя в скромных районных гостиницах и крестьянских избах. В ожидании теплохода на Архангельск Айдар провел два дня в рыбацьем поселке, расположенном неподалеку от устья Мезени, впадающей в Белое море.

Было обеденное время, и он пошел в столовую. Ему дали тарелку тепловатого борща, котлету с макаронами, и он устроился за столиком у окошка, откуда так хорошо было смотреть на бухту, на море. В чистой и светлой столовой никого, кроме буфетчицы, не было, и ему не хотелось отсюда уходить. Неяркие лучи осеннего северного солнца нагрели оконное стекло, он расслабился, закурил... «Домой нужно ехать, домой, – думал он. – Нужно быстрее добираться до дому... Всю зиму буду писать, не вставая из-за стола. Соскучился я по своей писанине... А следующим летом, даст Бог, поеду в пески Казахстана или Туркмении. Сына с собой, возьму – хорошо нам с ним будет вдвоем».

Открылась дверь, и в столовую вошла старушка, держа в руках сумку-авоську.

– Нюр, а Нюр, взвесь мне сахару-песку два кило, – торопливо сказала она.

– Ты что, Григорьевна, что с тобой? Ты чего так запыхалась? – засмеялась буфетчица.

– А то не знаешь? Там Михеича хоронить везут...

– Какого Михеича?

– Печника.

– Михеича? Печник Михеич умер?

– Говорят, третьего дня, утром. Он бобылем жил. Старуха-то у него еще раньше умерла, царство им обоим небесное, вечный покой... Никто и не знал, что он умер. Почтальонше спасибо – она один раз газеты принесла, другой и заметила – их никто из ящика не берет. Она в дом-то входит, а Михеич мертвый у порога лежит. Еще собака во дворе была привязана, так она все рвалась, лаяла

да завывала. У него, знаешь, такая черненькая была собака, с пятнышком белым на лбу... Ты и не помнишь, поди?

– Ужас какой! Может, хотел на помощь кого позвать?

– Наверное.. Люди говорят, уже разлагаться начал...

– А дети приехали?

– Откуда? Андрюшка в тюрьме. Младший тоже неизвестно где шатается.

Была бы дочка у него, так обязательно бы приехала. Да только нету у него дочки а парни вон, видишь, какие уродились...

– Тихий человек был Михеич... Хороший человек...

– Мастер был замечательный. Он ведь не только в нашем поселке, а, почитай, во всей округе печки клал. Эх, какой печник был, даром что однорукий! Одной рукой так управлялся, дай Бог здоровому... Где теперь такие мастера?

– А кому они нужны? Теперь и печек-то мало осталось. Газовые плиты везде и отопление газовое...

– Вас послушаешь, так вам никто не нужен, – рассердилась старуха. – Такой мастер, как Михеич, нынче и не родится. Хотя велика Расея, как знать, как знать, – забормотала старуха и вышла, забыв про покупку.

...Мимо окна прогрохотала телега, на которой стоял гроб без крышки. Маленькое сморщенное старческое личико, правая рука высовывается из куцега рукава обтрепанного пиджака, пустой левый рукав развевается на ветру, задевая лицо покойного.

Давешняя старуха, которая шла теперь рядом с телегой, аккуратно подоткнула рукав.

– Непорядок, – сказала она.

За телегой шли еще несколько стариков, старух, бежали мальчишки, которым все на свете интересно. Позади процессии плелась черная собака с белым пятнышком на лбу. Мальчишки кидали в нее камнями, но она не отставала. Лишь скалила зубы в ответ и глухо рычала.

ЖИЗНЬ

Кылышбек лег в больницу осенью, а выписывается лишь сейчас, когда на деревьях уже распустились почки. На этот раз и старуху предупреждать не стал, а то, не дай Аллах, случится как в прошлом месяце – врачи сказали: «Скоро будете дома, вы здоровы, аксакал», он на радостях расхвастался перед старухой и тем самым только ввел ее в пустые хлопоты. Баурсаков старуха напекла, плюшек, соседей созвала, а главврач осмотрел старика, нашел, что в легких у него не совсем еще чисто, и сказал, чтоб он пока и думать не думал о выписке.

Но в этот раз – точно. «Завтра мы вас выписываем, вы практически здоровы, аксакал. Съездите в Кокчетав на курорт, и все будет в порядке».

От радости Кылышбек всю ночь проворочался, никак не мог заснуть. Да и заснешь тут! С приходом весны больные оставляли форточку открытой на всю ночь, и молодежь в палате точно сбесилась, лишь наступили первые теплые деньки. Ни форточкам, ни окнам, ни людям покоя нет. Хлопают форточки, а парни, хоть и больными считаются, то и дело в окошки лезут – туда-сюда, туда-сюда. Вот и сегодня под утро шельмец Есентай с соседней койки, влезая в окно, чуть не отдал ему ногу.

– Извините, аксакал, – сказал он, ничуть не смутившись. Ну что можно ответить этому ошалевшему юнцу?

– Ты чего шляешься по ночам? И не стыдно тебе?

– Зачем стыдиться холостому парню, аксакал? Была б у меня жена или старуха, например, тогда другое дело.

«Вот ведь как отвечает, а? Старуха, говорит, – это он меня поддеть хочет...» Кылышбек, ворча, снова укладывается и снова не может заснуть. Луна заглядывает в открытое окошко. Ночь молочно-белая. Белым-бело на улице, и ясно видно воробышка, примостившегося на ветке тополя перед окошком

– Что, аксакал, не спится? – спросил парень.

– Да, никак сон не идет... Так получается...

– А я, если вылечусь, то обязательно женюсь. Я и не подозревал, что это... что это так хорошо.

– Сколько тебе лет, Есентай?

– Восемнадцатый.

– И ты уже жениться хочешь?

– Так получается, – Есентай засмеялся, повторив присказку старика.

– Ты бы в армии сначала отслужил.

– Все успеем сделать, аксакал!

– А приглянулась тебе эта длинноволосая, высокая, да?

– Как вы угадали, аксакал? – удивился Есентай. – Она вам тоже понравилась?

– Понравилась. Вроде бы скромная девушка. А только разрешат ли родители вам так рано жениться?

– У меня отец умер в прошлом году, а мать готова благословить нас хоть сейчас – одна она...

– Думаешь, у твоей матери в ауле никого для тебя на примете нет?

– Почему нет? Есть. Учительница. Хорошая девушка, но в нее влюблен мой друг.

– Он тоже учитель?

– Нет, как я, тракторист.

Кылышбек за все время, пока лежал в больнице, никогда так много не говорил с этим парнем, как сегодняшней ночью. Он, конечно же, знал его веселый, лукавый характер, но в беседу с ним не вступал. Ведь в больнице как? В больнице молодые тянутся к молодым, старики – к старикам. Разный возраст, разные заботы, разные разговоры. Никто никому не мешает.

– Плохо летом болеть, да, аксакал?

– Что вообще в болезни хорошего, дорогой...

– Вам повезло – завтра выписывают. Бабушка вас чаем вкусным угостит. Вы уж нас не забывайте!

– Е! Как можно забыть? Буду вас навещать.

– А я в конце недели ложусь на операцию...

– Не волнуйся, у молодого хирурга рука легкая. У него все операции удачно проходят. Даст Аллах, и у тебя все хорошо кончится...

Они помолчали.

«Скоро Кенжеш из тюрьмы вернется, – вдруг подумал Кылышбек. – Да и не тюрьма это, а как там... «условно-досрочное» или как? Короче говоря, взяли под

стражу да переселили в соседний город. Ничего, Аллах даст, летом дома будет... Ведь сколько раз я ему твердил – сын, будь осторожнее, внимательнее... Да разве нынешняя молодежь кого слушает? В гололедицу врезался на грузовике в автобус, и вся недолга. У самого перелом ноги, так хоть люди в автобусе живы остались, слава Аллаху! Погибни кто-нибудь из них, как бы он потом жить смог, людям в глаза смотреть?.. Нелегко жить, зная, что ты – убийца. Лучше самому погибнуть...»

– Детей много у вас? – прервал его мысли Есентай.

– Один сын, больше нету, – ответил Кылышбек.

– А что ж он к вам никогда не придет? Я его что-то никогда здесь не видел.

– Некогда ему, он в другом городе живет, на заводе работает. А начальство – сам знаешь, работы много, никого не отпускает... – Кылышбек и сам не заметил, как приврал. «Эх, Кенжеш, Кенжеш! Заставляешь старика врать юнцу на ночь глядя...» – огорчился он.

– У меня тоже будут дети, – сказал Есентай. – Я люблю маленьких детей. Особенно девчонок. Есть некоторые мальчиков больше любят, джигит, говорят, пускай в доме растет, а я хочу, чтоб у меня сначала была дочь и лишь потом сыновья. Я так считаю, аксакал. А вы как думаете?

Но Кылышбек, скованный своей невольной ложью, ничего не ответил, и было непонятно – то ли разговор ему надоел, то ли последние слова парня не понравились...

И луна назойливо лезла в окошко, словно высматривала что-то.

«Только врать и осталось на старости лет! Ну что ж, раз начал, так и дальше валяй в том же духе. Ври, ври, не стесняйся, Кылышбек!..» Он приподнялся и хотел было выпалить парню всю правду о том, где на самом деле находится его сын, но внезапно услышал мерное посапывание Есентая.

«Угомонился, озорник!.. – Старик почувствовал облегчение. – Устал... Набегался... Что ж, молодость, она и есть молодость...»

А утром, после обхода, всей палате стало известно, что Кылышбек действительно покидает больницу. До автобусной остановки его провожали молодые джигиты – в тапочках, больничных халатах.

– Ну что, пошли ко мне, – предложил Кылышбек. – Моя старуха рада будет. Она гостей любит.

– Мы-то не против, а вот что врачи на это скажут? – засмеялся один из парней.

– Спроси у Есентая, он все время в городе пропадает, – Кылышбек подмигнул своему ночному собеседнику.

– А что, если я попрошу разрешения оставить у вас в доме кой-какую одежду для прогулок? – Парень тоже подмигнул Кылышбеку.

– Неси одежду. Все несите, – подумав, сказал Кылышбек,

– Да здравствует наш аксакал! – загалдели парни.

Когда Кылышбек вошел в дом, старуха изумленно хлопнула в ладоши и, замерев, уставилась на него.

– Уа, что с тобой? – услышала она родной голос.

Она встала, но навстречу старику не бросилась. Так и стояла, молча глядя на него, и ноги у нее будто приклеились к полу.

– Ты? – наконец вымолвила она.

– Конечно, я. Смотри в обморок не упади! – Кылышбек бросил сумку с вещами у порога, подошел к старухе и крепко взял ее за плечи. – Я вернулся. Вернулся живой, здоровый, а ты плачешь.

Старуха торопливо вытерла глаза.

– Почему не предупредил-то? – спросила она.

– Боялся, как в прошлый раз получится... – ответил старик.

– Чай пить будешь? Сейчас поставлю, – хлопотала она.

– Не надо. Я сначала в баню. Дай чистое белье.

Она ушла, а Кылышбек как бы заново оглядел комнату, в которой прожил долгие годы. Все вещи стояли на своих местах. Телевизор у окна, круглый низкий стол – в центре комнаты. Пол был застлан старым, но все еще ярким алаша. Кылышбек сел на диван, купленный им незадолго до того, как лечь в больницу.

«Мягкий, – подумал он, тронув обивку дивана ладонью. – Новая вещь, она и есть новая, недаром за нее деньги плачены. И еще: родной дом что родная песня. Не зря придумали эту присказку предки-батыры, когда возвращались к родным очагам после долгих странствий».

– От Кенжеша есть что-нибудь? – спросил он.

– После того письма уже месяц ничего нету, – ответила старуха из соседней комнаты.

– А как там внук? Сноха?

– Сегодня утром звонила. Говорит, Сабит приболел опять.

– А что с ним?

– Да ничего особенного. Простыл. Весной дети всегда хворают.

– Ладно... – Кылышбек потер лицо ладонями. – Надо будет вечером к ним зайти.

– Сходим. Ты возвращайся побыстрее. – Старуха протянула ему сумку с бельем. – И за пивом не стой. Лучше чаю напьемся, когда возвратишься.

– Можешь не волноваться. – Кылышбек вздохнул. – Врачи сказали, что пиво мне теперь тоже нельзя пить.

Старуха улыбнулась и покачала головой.

– Хочешь, дам тебе старый чекмень из верблюжьей шерсти? – предложила она

– Зачем? Жарко будет.

– Надень. Сам знаешь – весна, сквозняки, простудиться ничего не стоит...

– Ну давай, – согласился Кылышбек.

Вечером они пошли в гости к снохе и внуку.

– Дедушка, ты выздоровел, я тоже скоро выздоровею, – бойко частил внук, усевшись на колени к деду.

– Такой же говорун, как отец, – посмеивался Кылышбек, с любовью глядя на мальчика.

– Папа скоро вернется, – сказал Сабит.

– Кто это тебе сказал? – удивился Кылышбек.

– Мама. А еще она сказала, что папа теперь машину больше не будет водить...

– Это почему же?

– Она сказала, что папа не умеет водить машину.

– Ты тоже так думаешь? – Кылышбеку вдруг стало обидно за сына.

– Я? Тоже. Я думаю, как мама.

– Хорошо, что ты думаешь, как мама. Но я хочу, чтоб у тебя и своя голова работала, – сдержанно сказал Кылышбек и, наклонившись, поцеловал внука в затылок.

Старуха и сноха, хлопочущие на кухне, позвали их к столу.

– Вы, папа, не обижайтесь, что я последнее время к вам не ходила. Замоталась я, да и Сабит вот некстати заболел.

– Э-э, какая может быть обида, – сказал Кылышбек. – Я не обиделся, я вот по этому круглоголовому соскучился, – показал он на Сабита.

– Ата, и я по тебе соскучился, – признался малыш, обняв его за шею. – Ата, не уходи, оставайся у нас...

– Правда, оставайтесь, места всем хватит, – присоединилась к его просьбе сноха.

– А что, пожалуй, так и сделаем, – согласился Кылышбек – Вы в той комнате ляжете, а мне постелите на полу рядом с кроватью Сабита.

Внук расплылся в радостной улыбке.

– А ты мне сказку расскажешь? Да, ата?

– Старшим нельзя говорить «ты», старшим нужно говорить «вы». Разве ты его этому не научила? – Кылышбек строго посмотрел на сноху.

– Когда мне его учить? Да и мое ли это дело? – Сноха раздраженно глядела на Кылышбека.

А он, сообразив, что сказал лишнее, смутился. Возникло неловкое молчание. Сноха тоже сникла, посидела немного и ушла в другую комнату.

– Вечно ты болтаешь не подумавши, что за язык у тебя! – рассердилась старуха, но Кылышбек в ответ лишь пожал плечами и окончательно замолчал.

Спал он плохо. Просыпался, смотрел в окно, ворочался, вздыхал. «Усталая женщина, – думал он. – Да и как ей не устать – одна бьется. Вон и старуха без сына мучается, что про жену говорить?.. Беда да горе под ручку ходят... И зачем я ляпнул что не следует?.. Эх, Кенжеш, дорогой ты мой! Будь ты рядом, я б никогда не оказался в таком глупом положении и не пришлось бы мне сейчас терзаться. А сейчас – ну что я могу поделать, когда нет тебя дома и неизвестно, когда ты возвратишься? Но ты возвратишься рано или поздно, и тогда все образуется. Разве это трудности по сравнению с тем, что выпало на нашу долю? Ведь у молодежи, можно сказать, райская нынче жизнь. Разве испытали вы то, что нам пришлось испытать – и нужду, и голод, и коллективизацию, и войну... Разве вы поймете? Ведь всего вам не расскажешь, где там...» Заснул он только под утро, а проснулся от голоса внука.

– Ата – соня, ата – спит. – Свалившись на него со своей кровати, Сабит обнял его за шею.

– Да ты и сам только что проснулся, еще штаны не успел надеть, – защищался Кылышбек. Он похлопал внука по полным ножкам и приказал: – А ну, быстро, пошли умываться.

Сноха, улыбаясь, глядела на них.

За чаем Кылышбек узнал, что старуха отправилась домой, как только рассветло.

– Что это она? – насторожился Кылышбек

– Сказала, что тесто поставила, баурсаки будет стряпать, – сказала сноха.

– Гостей, что ли, опять назвала?

– Говорит, что только соседей...

– Ата, я тоже с тобой пойду, – вмешался в их разговор Сабит

– Тебе на улицу пока еще нельзя, – остановила его мать.

– Ата, возьми меня с собой, – захныкал мальчуган.

– Слушайся маму, – строго сказал Кылышбек. – Вот выздоровеешь, тогда и придешь к нам, а сейчас нельзя... Да-а, легка на подъем наша старуха, а? – обратился он к снохе.

Та улыбнулась.

– И Кенжеш такой же... Весь в нее пошел.

– Ты хочешь сказать, что он маменькин сынок? – спросил Кылышбек.

– Нет, он и на вас похож. Извините, – покраснела сноха.

Они помолчали.

– Баян-жан, – начал Кылышбек. – Ты уж извини меня, старика, я тебе вчера лишнее сказал...

– Нет, это я была не права. Вы же не нарочно. – Сноха, окончательно смутившись, опустила глаза.

– Ладно, все в жизни бывает, не будем держать зла друг на друга, ведь мы одна семья... – Кылышбек встал и вздохнул: – Ну, мне тоже пора. Зайду по пути на рынок. Соскучился по своим старикам. У нас ведь, у стариков, там, на рынке, настоящий, можно сказать, клуб...

– Вы же как-то говорили, что они вам до смерти надоели, эти старики, – засмеялась сноха.

– Да вот пожил без них и начал скучать. – Кылышбек посмеялся вместе со снохой и добавил: – Пока я не вышел на работу, делать мне нечего, пойду послушаю их «информацию»...

– А мама сказала, что вы больше не будете работать, что вам вредно...

– Много она понимает! Сейчас партия и правительство пенсионеров уважают, к работе их привлекают, призывают опыт молодым передавать, так что я не хочу быть в стороне от общего дела. Да и завод мне привычен, родной он мне, наш завод. И что вредного для меня в том, что я раз в три дня буду на проходной сидеть? К тому ж и к пенсии прибавка...

– А дедушка в проходной сидит и книгу читает, – влез в разговор Сабит.

– Деньги платят не за то, что дедушка книги читает, а за то, что он завод сторожит, – перебила его сноха.

– А дедушка немного почитает, немного посторожит. Верно, дедушка? – лукаво обратился Сабит к Кылышбеку.

– Верно, внучек. Ты угадал, – засмеялся Кылышбек.

Все его знакомые старики сидели на солнышке, около рядов с ранней зеленью. «Клуб» работал вовсю, но Кылышбеку вдруг стало скучно. Все те же, ни к чему не обязывающие пустые словеса, все те же, ни к чему не приводящие споры между представителями разных родов, реплики, подливающие, как говорится, масла в огонь, все те же шумные разговоры ни о чем, без начала и конца... Вначале друзья обрадовались Кылышбеку, набросились с расспросами, но вскоре забыли о нем, и беседа вновь потекла по старому руслу. «Отвык я от них, и они от меня. Ничего, пройдет время – столкнемся. Это не беда», – подумал Кылышбек.

Он незаметно встал, вышел за рыночные ворота и медленно направился домой.

Перед выпиской врачи сказали ему, что он поедет на курорт, три месяца он должен провести в высокогорном Кокчетаве за государственный счет. Но Кылышбека эта заманчивая перспектива отнюдь не манила – курортов он терпеть не мог. Никогда в жизни там не был, так зачем же теперь, на старости лет?.. «А если нужно подлечиться, – размышлял он, – что может быть лучше для легочного больного, чем кумыс и чистый воздух?»

Есть родина, есть горный аул, где все любят и уважают его, Кылышбека, где у него живут родственники. «Вот настанет лето, и я уеду туда, к ним, в горы... Надо только лета дожждаться. Дожждаться лета. Тогда и Кенжеш вернется. Вернется Кенжеш, повидаюсь я с ним, потом возьму старуху, внука – и в горы... А курорты, зачем мне ихние курорты, и какая от курортов польза человеку, который уже вступил в беседу с небесами?.. Главное – дожждаться лета. Главное – дожждаться Кенжеша».

В их доме собрались соседи, и Кылышбек так развеселился, что ему захотелось спеть песню. Домбрист Абзал, без которого не обходилось ни одно застолье, настроив домбру, передал ему инструмент, и Кылышбек затянул свою любимую «Каркарлы»:

Степь, на твоих просторах
Сайгаку вольнее, чем мне, певцу твоему...
Степь, о степь, зачем ты преследуешь меня?..

Только начав петь, Кылышбек понял, насколько он еще слаб: голос его звучал неуверенно, и было ему до слез обидно, что он уже не может, как прежде, ясно, протяжно, уверенно пропеть свои любимые слова. Раздосадованный, он вернул домбру Абзалу и сделал парню комплимент:

– Нет, не стану с тобой тягаться, победил ты меня. Тебе б в артисты пойти, а не грузчиком работать на комбинате. Славно ты поешь!

Польщенный Абзал слегка смутился, но все же благодарно поклонился старику. – Он говорит, что уже опоздал в артисты, – ответил за Абзала другой сосед Кылышбека, чудаковатый старик Кайдар.

– Люди говорят, учиться никогда не поздно! – Кылышбек, приподняв брови, строго посмотрел на Абзала. – Ты себе цены не знаешь, парень. Голос у тебя дивный, сильный. Я еще скажу – голос у тебя как горный поток. Ни границ, ни пределов не знает...

Застолье поддержало его.

– Недаром наш Абзал родной внук Амре... Талант, он, видать, по наследству передается...

– Правильно, вот мой отец никогда домбру в руках не держал...

– Стало быть, и ты играть не умеешь?

– Куда мне! – засмеялся бухгалтер Шарык, и остальные гости рассмеялись.

А бухгалтер Шарык посерьезнел и обратился к Абзалу:

– Ты слушай, что тебе Кылышбек-ага говорит. Он тебе дело говорит – учиться тебе нужно на музыканта. Вон ты смотри, Кайдар-ага состарился, на пенсию пошел, а все-таки сбылась его мечта – устроился работать в театре.

– Рабочим сцены? – хмыкнул Абзал.

– Ну и что? – не сдавался Шарык. – А все равно он делает то, что ему нравится, – работает в театре...

– Да его уже выгнали оттуда, – поддела мужа старуха Кайдара.

– За что? – удивился Кылышбек, который еще не слышал этой важной новости.

– А потому что ему спокойно не сидится, – засмеялась старуха, и было видно что она отчасти даже рада тому, что очередное чудачество ее мужа закончилось крахом. – Человек всю жизнь проработал на мясокомбинате, а на старости лет с артистами связался, да еще режиссера взялся учить, как ему спектакли ставить, – заворчала она, как бы продолжая какой-то свой давний спор со стариком.

– Я люблю театр и все равно буду в нем работать, – спокойно сказал Кайдар, не обращая внимания на подначку жены. – Ты, Кылышбек, верно говоришь, что учиться никогда не поздно, но искусство я за то и люблю, что там все по-другому. В искусстве пропустить свое время – равносильно смерти...

– Ну уж вы тоже скажете, – не поверил Шарык.

– Ты этого не поймешь, а я понимаю. И Абзал должен это понять, ведь он настоящий артист, – сказал Кайдар, но его никто не поддержал, и он продолжил сердито: – Разумеется, я не говорю о служении искусству ради куска хлеба. Я говорю о святом искусстве, о таком искусстве, о котором всю жизнь мечтал, да уж так сложилось, что не сбылась моя мечта...

Он махнул рукой и насупился.

– А ведь Кайдар-ага верно говорит. – Абзал прервал неловкую паузу. – Я его слова умом-то, может, и не понимаю, зато всем нутром чувствую... Вы вот послушайте еще одну песню...

О горы Великие, не возноситесь –
 Вы тоже когда-нибудь в землю уйдете.
 О море мое, не хвались глубиною –
 И ты ведь когда-нибудь сушею станешь...

Послышались возгласы:

– Чья это песня?

– Мы такой не знаем... Ты сам ее написал?

– Это песня Махтумкули, – сказал Абзал, прислонив домбру к стенке и тем самым показывая, что сегодня больше уже не будет играть.

– Хорошая песня, – сказал Кылышбек. – Умные слова.

– Золотые слова, – подтвердил Кайдар.

Гости разошлись. Старуха мыла на кухне посуду, а усталый Кылышбек откинулся на спинку дивана.

– Здравствуй, Кылышбек, – услышал он чей-то голос.

Он вздрогнул от неожиданности и увидел, что на пороге стоит высокий широкоплечий человек его лет, с аккуратно подстриженной бородкой, с суровым лицом, покрытым шрамами.

– Здравствуйте, – сказал Кылышбек, приглядываясь к нему и гадая, кто же этот незнакомец, неслышно вошедший в дом.

Гость без приглашения сел к столу.

– Что, признать меня не можешь, да? – спросил он. И в эту секунду Кылышбек вспомнил все.

– Сеитжан? Откуда? Какими ветрами? – удивился он.

– Да, это я, Сеитжан, – подтвердил вошедший, не отрывая от лица Кылышбека своего сурового взгляда – Шел я мимо, и захотелось мне взглянуть на тебя...

Они помолчали.

– Ну и правильно сделал, что нашел, – сказал Кылышбек. – Погостишь у нас?

– Нет, мне пора в аул возвращаться. Говорю же я – мимо шел и зашел. Гостить у меня времени нет.

– А в город ты по делу или просто так?

– Старший сын у меня здесь живет, приехал его проведать. Внук у меня родился.

– Поздравляю. Да будет благословен твой дом и дом твоего сына, – искренне обрадовался Кылышбек.

Сеитжана передернуло.

– Благословляешь? Было время, когда ты со свету нас хотел сжить, – свистящим шепотом сказал он, а глаза его так и сверлили Кылышбека. – Но не удалось, не удалось вам нас уничтожить. Не удалось!

– Никто тебя не собирался уничтожать, – сказал Кылышбек.

– Ну да, рассказывай мне! – отвернулся Сеитжан.

– Ладно, пошли выйдем на воздух, пока чай у старухи поспеет, – поднялся Кылышбек.

– Я не чай к тебе пить пришел, – вырвалось у Сеитжана, но он все же последовал за хозяином дома на улицу.

Они сели на лавку, пристроенную к забору. Сели и замолчали.

– Стало быть, ты не чай ко мне пить пришел, а захотел на меня взглянуть. Зачем? – спросил Кылышбек, и голос его прозвучал ясно и громко. Ибо в доме он старался говорить вполголоса, чтобы старуха не насторожилась: разговор, судя по всему, обещал быть неприятным.

– Да, пришел тебя увидеть, – подтвердил Сеитжан. – В молодости ты больше всех старался, все активничал да комиссарил, вот и захотелось посмотреть, что ты за это получил.

Кылышбек усмехнулся.

– Ты все такой же злой, не изменился. – Он погладил левое плечо, в которое когда-то угодила пуля, отчего оно временами начинало ныть, особенно к непогоде.

– А ты знаешь, что это не я в тебя стрелял, – сказал Сеитжан, как бы угадывая его мысли.

– А кто же? – снова усмехнулся Кылышбек.

– Нарымбет, это была его работа.

– Нет, это твоя была работа. Стрелял-то, может, и он, но пулю его направил ты. Иначе зачем бы ему, бедняку, убивать меня, бедняка?

– Ну а тебя кто заставлял нашу семью преследовать? Ты моего отца загнал в те края, где люди на собаках ездят. Ты пулю за дело получил, и скажи спасибо, что еще повезло тебе тогда. Твое счастье, что не ухлопали тебя, и ты вон до каких лет дожил!

Они опять замолчали.

– И все-таки, почему ты нас в покое не оставил? Из-за чего? Злоба тебя толкала или зависть взяла, что мы хорошо жили?

Кылышбек прямо посмотрел на Сеитжана.

– Я хотел, чтоб все было по справедливости. Я хотел, чтоб вы людьми стали.

– Это в тундре-то? – ухмыльнулся Сеитжан и вдруг встрепенулся: – А ты и до сих пор считаешь, что мы не были людьми?

– Да, вы не были людьми и стать ими не захотели, – подтвердил Кылышбек.

– А себя ты человеком считаешь? Разве не ты отобрал весь наш скот, все имущество наше отобрал и по миру нас пустил? Да разве только нас одних?

– А разве не ты, лишившись своего состояния, угнал весь скот у бедняков?

– Что мне еще оставалось делать? И что ж ты тогда не пустился в погоню, что ж не вернул ваш скот?

– Слишком поздно узнал об этом, – вздохнул Кылышбек.

– Нет, – торжественно сказал Сеитжан. – Не поздно. Ты понял, что не найдешь меня, а если найдешь – силенок у тебя маловато, чтоб со мной справиться.

– Возможно, что и так было, – согласился Кылышбек. – А возможно, что и нет. Ладно, чего старое мусолить? Ты лучше расскажи, где теперь Нарымбет?

– Погиб в Отечественную. Он на Дальнем Востоке жил, оттуда и на фронт пошел.

– Царство ему небесное... Я ведь с тех пор о нем ничего не слышал.

– А про меня слышал?

– Да... Совсем недавно кто-то мне сказал, что ты опять в нашем ауле живешь, дом купил.

– А чего мне? У меня денег куры не клюют. Я с войны вернулся живой, здоровый, в Караганде на шахте работал, платили нам дай боже. Ты, кстати, был на фронте?

– Нет, меня не отпустили. Здесь я воевал, – грустно сказал Кылышбек.

– Вот-вот, так я и думал, – удовлетворенно сказал Сеитжан. – С молодости ты умел тепленькое местечко найти.

– Ты зачем пришел, оскорблять меня? – спросил Кылышбек нахмурившись. – Да ты знаешь, что у меня тоже ордена и медали есть, что я чуть не каждый месяц рапорты писал, чтоб меня на фронт отправили?.. Не веришь, так уходи, не о чем нам с тобой разговаривать...

– Не кипятись, хватит и того, что мы всю жизнь врагами прожили, – примирительно сказал Сеитжан.

Кылышбек сидел молча, еще не остыв от гнева.

– А я вот последнее время все больше и больше думаю о покойнице Газизе, – вздохнул Сеитжан.

– Это ты сейчас о ней думаешь. А раньше вы думали только о себе, о своих лошадях, о своем богатстве.

Теперь замолчал Сеитжан.

– Ты хотел, чтоб мы до сих пор ходили за вашими табунами! Обмораживаясь, падая от усталости, за гроши, да? Вы обманывали народ, унижали, терзали людей, и я боролся против вас! И правильно делал, что боролся!

– Против нас – понятно, но за что? За что? Объясни мне?..

– За что? Я хотел, чтоб все люди были счастливы. Не только вы, а все люди.

– Ну, я вижу, как ты лопаешься от счастья. Ни себе, ни людям ничего не сделал.

Вот и сиди теперь, доживай свой век, – усмехнулся Сеитжан.

– Ты дурак! – рассердился Кылышбек.

– Нет, я не дурак, – тихо сказал Сеитжан. – Я разобраться хочу.

– Ничего ты никогда не поймешь. – Кылышбек закашлялся. – У тебя ничего не осталось, кроме злости.

– Ошибаешься, у меня еще честь осталась.

– Честь? И это ты называешь честью? Дурак ты, Сеитжан! Ей-богу, дурак!

– Говори-говори! – Сеитжан поднялся, – А впрочем, можешь и помолчать. Я и сам вижу, чего ты в жизни достиг. И прямо тебе скажу – не многого...

Из дома вышла старуха и пригласила их пить чай.

– Спасибо, байбише, – отказался Сеитжан.

– Хоть бы ломтик хлеба скушали в нашем доме, – настаивала она.

– Нет, нет, спасибо, – снова отказался Сеитжан и обратился к Кылышбеку: – Ладно, я хотел с тобой серьезно поговорить, да не получилось. А раз не получилось, видно, и не суждено этому быть. Мне нужно было передать тебе кое-какие слова... Но – пускай и это останется на моей совести.

– Какие слова?

– Неважно. Не до этого мне теперь. Думал, по-человечески встретимся, да не смог я побороть вражду к тебе. Ну, будь здоров...

И Сеитжан ушел, аккуратно прикрыв за собой калитку. Старуха дернула Кылышбека за рукав:

– Это кто такой? Что-то я его раньше никогда не видела.

– Ты его не знаешь, – коротко ответил Кылышбек.

Сеитжан шел берегом Иртыша. Он миновал дом своего сына и свернул к реке. Солнце садилось, лед на реке вспух, посинел. Весна в разгаре, и сегодня утром солдаты уже взрывали лед, чтобы он не разрушил мост, когда начнется ледоход, Сеитжан это сам видел.

Он сел на валун и горько задумался.

«Как же так получилось, что я не смог выполнить твоей просьбы, Газиза, – в смятении думал он. – Видел Кылышбека и ничего ему не сказал. Казалось бы, столько лет прошло, пора уже все забыть, но каждый раз злоба и оскорбленная честь побеждают мой разум, что делать, Газиза? Если я перед кем и виноват в этой жизни, так только перед тобой. Но что мне делать? Как мне быть?»

– Коке! Ко-о-о-ке-е-е-е! – услышал он далекий девичий голос. Он вскочил, заозирался по сторонам, закрыл руками уши и снова, уже в который раз, вспомнил то, что случилось тогда, много лет назад...

Кылышбек сидел у самого окна аулсовета и считал на счетах. Он был молод. Он теребил свои пышные кудри и что-то весело бормотал себе под нос.

«Развеселился, голодранец, – зло подумал Сеитжан. – Грамотного из себя корчит, человеком себя воображает... О Аллах, как можно стерпеть такое унижение!»

Он отошел от окна и скрылся в темноте. Послышался цокот копыт, к нему подъехал Нарымбет.

– Угнали, – радостным голосом сказал он. – Весь скот, всех коней угнали...

– Тише ты! – зашипел Сеитжан. – Жену и детей отправил?

– Они сейчас далеко, наверное, уже до стоянки добрались...

– Никто ничего не заметил?

– Кто что заметил, тот больше никому не скажет, – ухмыльнулся Нарымбет.

– Хорошо, теперь осталось Кылышбека убрать, и можно двигаться...

– А может, не надо перед дальней дорогой, – заколебался Нарымбет. – Я его с детства знаю, он ведь так-то неплохой парень.

– Не хочешь руки марать, я сам его уложу! – Сеитжан круто повернулся и пошел.

– Эй, Сеитжан, я забыл – еще твоя сестра осталась в ауле, – сказал Нарымбет, догоняя его.

Сеитжан остановился:

– Почему она не уехала вместе со всеми?

– Сказала, что хочет быть с тобой...

– Ладно, разберемся...

Они подошли к аулсовету, и Сеитжан вздрогнул – как будто что-то белое мелькнуло среди деревьев. Мелькнуло и скрылось.

Кылышбек все еще сидел уткнувшись в бумаги. Сеитжан вытащил из-за голенища нож, снял с лица повязку и сунул ее в карман. Он мастерски метал нож с двадцати – тридцати шагов, попадая в цель. Он осторожно раздвинул ветки и приготовил нож к броску, подкидывая его на ладони.

И вдруг снова мелькнуло что-то белое. Газиза! Это была она. Газиза в белом своем платье.

– Коке, коке, – шептала она, повиснув у него на руке. – Не надо! Коке, не надо!

Он растерялся, но тут же пришел в себя. Его душил гнев. Надо же, родная сестра влюбилась в этого нищего! Позор! Позор! Властной рукой он оттолкнул ее, и Газиза упала на землю. Кылышбек, услышав легкий шум за окном, поднял голову, но вскоре, успокоенный, опять склонился над бумагами. Газиза встала.

– Коке, коке... – Она снова схватила брата за руку – Поехали, коке...

– Да убери же ты ее! – потеряв осторожность, крикнул Сеитжан Нарымбету. Резко взмахнул рукой, желая освободиться от сестры, и в ту же секунду почувствовал, что остро отточенный нож пропорол живот Газизы.

– Ах... – только и выдохнула она, медленно сползая на землю. Из окошка выпрыгнул Кылышбек. Нарымбет, не целясь, вскинул обрез и выстрелил. Кылышбек, как бы споткнувшись, завалился на бок и распластался перед окном.

– Догоняй меня! – крикнул Нарымбет и, вскочив в седло, исчез в темноте.

Сеитжан, посадив раненую сестру перед собой, тоже пустился вскачь. Только на рассвете остановились они на заросшем берегу Чагана, чтобы дать передышку измученным коням.

– Коке, я умираю, – еле слышно прошептала Газиза, когда он, положив ее на траву, поднес к ее губам кувшин с ключевой водой.

– Ты не умрешь! Я тебя не отдам смерти! – стиснул зубы Сеитжан.

– Поздно... Коке... выполните мою просьбу. Скажите Кылышбеку, что мне никто, кроме него, не нравился. Он ведь мне предлагал... замуж за него выйти, а я отказалась, вас... семью нашу пожалела... Скажите: «Газиза любила тебя»...

– Она задыхалась, говорила с трудом. – Нарымбет... Нарымбет стрелял в него... Он попал?

– Нет, – ответил Сеитжан. – Мы только пугнули его, а убивать не хотели.

– Не трогайте Кылышбека.. Коке, обещайте, что вы не тронете его...

– Не тронем..

– Скажите «оллахи»...

– Оллахи, – повторил вслед за сестрой Сеитжан.

«Если Нарымбет не промахнулся, то сейчас душа этого голодранца уже стучится во врата иного мира, – думал он. – Проклятый голодранец! На его совести вина, которую я ему не прощу до самой смерти! Правильно говорили в старину: дай дураку богатство, он его дуракам раздаст. Все, что было накоплено за долгие годы, эти чумазы собираются преподнести Советам... Псы... А если... а если Кылышбек не умер, если он жив, что тогда?.. Тогда что же, еще и приветы ему от сестры передавать, да? И тронуть его больше нельзя?»

Дойдя до этой неожиданной мысли, Сеитжан нахмурился, насупил густые брови, растерялся. «Это что же получается? Значит, если он жив, я никогда не смогу вырвать из-под этого голодранца своего саврасого иноходца, который на скачках опережал лучших скакунов? Значит, мой конь всегда будет принадлежать этим босоногим? Нищим хамам достанется мой бесценный тулпар?.. Да, достанется... Если уж я Кылышбека не сумел осилить, то понятно, до чего дело дошло... Ясно, куда все поворачивается... Убывает наша сила, наша мощь убывает. Мы – лвы с распоротыми животами. Мы – затравленные лисы, а гончие – они, кылышбеки, беднота, – срамота... О Аллах! Мир твой перевернулся, время твое кончилось. О Аллах!..»

Лицо его побагровело от злобы и печали. Он отпустил руку сестры, встал.

– Коке, коке...

Газиза еще что-то хотела сказать, открыла глаза, протянула холодеющую ладонь.

– Коке...

– Говори же!.. – гаркнул он, распираемый гневом, уязвленный самолюбием. И подумал: «О боже! Единственная сестра не желает думать ни о матери, ни об отце, ни о близких своих, ни о поруганной чести рода, а перед смертью шепчет имя этого грязного раба, как будто он – Бог. Верно говорят: у бабы волос долог, да ум короток. Но этого мало! Женщина – вот внутренний враг человека, кровожадный, злой враг.. Ни чести в ней, ни совести, и моя родная сестра доказывает это своими последними словами...»

Газиза выгнулась, слегка приподнялась, но, услышав сердитый голос брата, ослабла и закрыла глаза. На губах ее стыла мягкая, нежная улыбка. Газиза падала с синего неба в черную бездну. Падая, она увидела бегущего к ней Кылышбека и простерла к нему руки. «Ты не оставил меня одну, ты уходишь вместе со мной. Мы вместе идем. Вместе идем. Идем вместе. Вместе. Вместе. Вместе».

Лицо ее осветилось торжественным светом, навечно замерла на ее губах улыбка, матово белел лоб в первых лучах восходящего солнца. Красавица, взлелеянная родителями на радость и счастье, кончилась твоя короткая земная жизнь!

Сеитжан опустился на колени и, творя молитву, закрыл ладонью ее черные глаза, мертво глядящие в пустое небо. «Не от врага – от брата родного ты приняла смерть, – бормотал он. – Своими руками я убил тебя, что это за время такое, когда единокровные убивают друг друга, сосед идет на соседа, брат на брата... Ничего

я не понимаю и никогда не смогу понять! О Аллах, лучше бы вовсе не жить мне на земле! Горе, горе принесли нам нищие нового века...»

Потом он долго и тяжело молчал, потом подозвал Нарымбета и коротко приказал ему:

– Позаботься. Проводим Газизу в последний путь.

Потом он отпустил Нарымбета, а сам до темноты просидел у свежей могилы, проклиная весь белый, свет.

– Коке-е-е-е! – вновь услышал он тот далекий, раздирающий душу крик.

И снова вскочил Сеитжан, снова заозирался по сторонам, но никого не было вокруг. Лишь лед трещал да синели сумерки.

К утру Кылышбек проснулся от сильного кашля. Он согрел чай, выпил горячего молока с медом.

– Лежи, – сказал он проснувшейся старухе и тяжело вздохнул: – Видать, рано меня врачи выписали.

– Я тебе сейчас дам горячего молока, – сказала старуха

– Пил я уже молоко, – отозвался он.

Лег. Укрылся с головой. Пропотел и успокоился.

«Газиза – покойница, – думал он. – Этот сказал, что Газиза – покойница. Почему я не спросил, остались ли у нее муж, дети?.. Может, нужно было тогда, тогда бросить все и бежать с ней куда глаза глядят? Нет, она все равно не захотела бы – ведь она сказала, что не пойдет за меня замуж. Газиза! Милая Газиза! Может, из-за того, что я был секретарем аулсовета, ненавидела меня ее семья, а оставь я эту должность, они отдали бы за меня Газизу?.. Нет, – быстро ответил он себе. – Не надо обманываться, они никогда не отдали бы за тебя Газизу. И ты был прав. Такое было время, ты был верен законам своего времени. Ты был честен. И ты был прав, прав... – Он перевернулся на другой бок. – Но если ты был прав, почему до сих пор не забыл Газизу, почему никак не можешь выкинуть из головы ее имя, смех, облик? Почему?..»

А ведь он и в самом деле всю жизнь хранил память о своей первой любви и каждый день вспоминал Газизу, мечтал хотя бы разок встретиться с ней, поговорить. Он никогда не обижал свою старуху, но он прожил жизнь, думая о Газизе. Тогда, в молодости, он часто повторял во сне ее имя и, обнимая свою тогда еще совсем молодую жену, грезил во сне, что с ним рядом лежит белолицая Газиза. Молодая жена... нынешняя старуха... Сколько обид она вытерпела от невидимой соперницы. И ведь ни разу не сказала ему, Кылышбеку, дурного слова, хотя наверняка закипали у нее в сердце и злость, и отчаяние, и ревность – ведь чувствовать, что он любит другую, было тяжело, невыносимо тяжело... Он поражался, он восхищался верностью своей жены, ее стойкостью, силой ее разума и с годами привык к ней, полюбил ее... Но он не мог забыть Газизу, это было не в его силах.

«Коке! Ко-ке-е-е-е!» – услышав ее крик, он выпрыгнул из окна, грянул выстрел, что-то сильно толкнуло его в левое плечо, и он рухнул на землю, теряя сознание. В темноте куда-то метнулись какие-то люди, раздался стук конских копыт. Вскоре он очнулся и, придерживая правой рукой левое плечо, вскочил на коня

и помчался без седла в ночную темноту. Но он потерял слишком много крови и вскоре совсем ослаб. Утром его нашли на окраине аула. Рядом с ним пасся конь. Тот самый саврасый иноходец.

Газиза. Нет Газизы. Газиза – покойница. Этот сказал, что Газиза – покойница. Умерла Газиза..

Кылышбек проснулся от телефонного звонка.

– Але, вас слушают, – сказал он в трубку.

– Отец, это я, – раздался родной голос.

– Кенжеш? О Аллах! Ты здесь, ты приехал, Кенжеш? – разволновался Кылышбек, и крупные капли пота выступили у него на лбу.

– Это я. Я только что вошел в квартиру. Как там здоровье матери?

– Кто это? – спросила старуха, подняв голову с подушки. – Неужели Кенжеш?..

Кылышбек в растерянности не смог ничего ответить и лишь кивал, кивал головой.

– Дай сюда! – Старуха взяла у него трубку.

– Скажи ему, что я сейчас приеду, и сама попозже приходи.

Он быстро оделся и вышел, не глянув на часы.

На улице было темно и пусто. Автобусы еще не ходили. Он хотел поймать такси или остановить любую другую машину, но, пройдя квартал-другой, убедился, что это бесполезно. Если идти через мост, уйдет час с лишним, а если пойти через Иртыш, прямо по льду, то он уже через несколько минут будет у сына. «А вдруг лед тронулся? – засомневался он, спускаясь к реке. – Тогда придется возвращаться обратно, и я еще полчаса потеряю».

Но опасения его оказались напрасными. За ночь подморозило, река, скованная льдом, замерла, успокоилась, лишь кое-где на гладкой поверхности ее поблескивали лужицы да зияли полыньи. Он нашел на берегу длинную палку и осторожно ступил на лед.

Кылышбек добрался почти до середины Иртыша, когда кто-то окликнул его по имени. Он повернулся и увидел Сеитжана.

«Этот откуда еще здесь взялся? – подумал Кылышбек, шаря палкой по льду, чтобы не угодить в полынью. – Преследует он меня, что ли?»

– Куда это тебя понесло ни свет ни заря? – спросил его Сеитжан, когда поравнялся с ним.

– Сын приехал, только что позвонил. Два года мы с ним не виделись.

– Он что, в армии служил?

Кылышбек не ответил.

– Я тоже спешу. На автобус, пора домой ехать...

Кылышбек снова ничего не сказал. – Они молча шли по скользкому льду. Местами на его поверхности проступала вода, и, чем ближе к берегу, тем все чаще и чаще попадались им эти страшные лужи.

– Осторожнее, – нарушил молчание Кылышбек. – Ноги не промочи.

Внезапно хрустнул лед.

– Назад! – крикнул Кылышбек.

Они отступили и стали оглядываться.

– Это место нужно обойти. Держи правее, – сказал Сеитжан.

– Иди за мной, я знаю, – сказал Кылышбек.

«А что, если взять да столкнуть тебя в полынью? – подумал Сеитжан. – Моих сил на это пока еще хватит».

«Не тронешь ты меня, – думал Кылышбек. – Не тронешь, побоишься...»

«В полынью. За все! За отца, за тундру, за всех моих родственников. За Газизу...»

Он огляделся по сторонам. Никого. Сзади – город. Город еще спит. Впереди – остров. На острове – лес. А лес все скроет, и более подходящего момента он, Сеитжан, не дожидается до конца дней своих. Ну, тогда благослови, Аллах! Сеитжан рванулся было к Кылышбеку, но тут снова захрустел лед.

– Осторожно! – крикнул Кылышбек, но было уже поздно.

Лед треснул. Кылышбек, неудержимо скользя, успел все-таки перепрыгнуть через широкую промоину, по краям которой грозно вскипала черная вода. Он быстро обернулся. Сеитжан неуклюже размахивал руками, и его тоже несло по льду. «Не успеет перепрыгнуть, затянет его сейчас», – мелькнуло у Кылышбека, и он, возвратившись к промоине, резко выбросил вперед палку, которая уперлась в живот Сеитжану и остановила его скольжение у самого края ледяной пропасти...

На берег вышли уставшие, мокрые от пота.

– Еле выбрались, – сказал Кылышбек и, прикрыв рот платком, долго кашлял.

– Промок? – спросил Сеитжан.

– А ты как думал? И легкие, наверное, застудил. – Кылышбек никак не мог справиться с кашлем.

– Да. Спасибо тебе. Ну, будь здоров, я пошел, а то, глядишь, на автобус опоздаю, – выдавил из себя Сеитжан и зашагал в город.

– Прощай, – сказал ему вслед Кылышбек, пытаясь отдышаться.

– Кылышбек, – вдруг обернулся Сеитжан. – Газиза просила тебе передать... – сказал он и осекся.

– Что просила передать? – побледнел Кылышбек.

– Ничего... Это я так, ладно... До свидания, может, когда еще увидимся? – Сеитжан поднял воротник и прибавил шагу.

– Что просила передать? Что? – задыхаясь, крикнул Кылышбек, но Сеитжан уже скрылся за гребнем горы.

А через два дня, когда Кылышбек лежал в постели, весь обложенный горчичниками, его навестили двое парней из той больничной палаты, в которой он лежал.

– Что с вами, аксакал? – испугались они. – Вам хуже?

– Ерунда, – бодрясь, ответил Кылышбек. – Неможко простудился, ноги промочил, через день-другой встану. У меня в доме радость – сын приехал. И еще, как потеплеет, я решил в аул съездить, дело у меня там есть... А где же наш Есентай, почему не пришел? – вдруг спохватился он.

Парни переглянулись.

Почему вы молчите? – крикнул Кылышбек.

– Есентай умер во время операции, аксакал, – сказал один из них.

– О Аллах! – вырвалось у Кылышбека – Как несправедлива эта жизнь...

Больше Кылышбек ничего не сказал.

Он отвернулся к стене и замолчал. А парни, посидев еще немного, встали и тихо, на цыпочках вышли из его комнаты.

ТАИНСТВЕННЫЙ ЮНОША

Фантазия

В последние дни ему не работалось.

«Разве только в последние?» Он попытался встать, но, заметив на столе пачку с одинокой сигаретой, снова плюхнулся в кресло и щелкнул зажигалкой; послышалась звонкая мелодия: ля-ля-ля-ля-а-а. Его раздражал этот звук. Отшвырнув зажигалку, он начал искать спички, не нашел, встал и принялся медленно расхаживать по своему тесному кабинету – два шага от стола к стене, один шаг от стены до кресла.

«...Если бы только в последние.. Ты уже целый год, триста шестьдесят пять дней, пардон, триста шестьдесят шесть, ведь год високосный, целый год бездельничаешь».

Он ссутулился, сунул руки в карманы, обнаружил там спичечный коробок, но коробок был пуст... «Таскаю в карманах всякую дрянь!» – рассердился писатель. Он хотел выйти на кухню, но дверь отчаянно закрипела, и он тут же осторожно прикрыл ее, опасаясь, что разбудит мать, спящую в соседней комнате.

Мама. Она все время хворает, хоть и пытается скрыть свою слабость; она чисто, опрятно одета, гладко причесана, и пучок ее седых волос перетянут желтой лентой... «Желтый цвет мне к лицу...» – смеется мама. Но когда он долгими ночами корпит над рукописями, ему слышны еле различимые и тихий стон ее, и робкий кашель.

Он посмотрел на часы. Без четверти два. Нет, нельзя выходить, не нужно зря ее тревожить. Да и жена должна выспаться. Работая хирургом в единственной больнице их маленького городка, она встает рано и к вечеру сильно устает. Иногда шумно раздражается: нужно накормить детей, а их трое, нужно помочь им приготовить уроки, нужно стирать, штопать, доставать продукты, стоять в очередях. Она считается хорошим специалистом, но от этой славы ее нагрузка все увеличивается и увеличивается.

Нужно... А что делать, если у матери третий год как отнялись ноги, и она ничем не может помочь невестке. Слава Богу, что хоть по квартире передвигается без посторонней помощи, пусть и в инвалидной коляске.

«Ну, а кому живется легко? – Писатель бросил пустой коробок, снова вытащил зажигалку и наконец прикурил... – Разве только в последние дни?» – Он погасил настольную лампу, и в комнате стало совсем темно, лишь огонек сигареты мерцал. Он слышал, как монотонно стучат по карнизу дождевые капли. «Дождь... дождь идет... А роман не идет... Семь страниц... По тринадцать часов в сутки... Не отрываясь сидел... Страдал, отчаивался, нервничал, извел и себя, и домочадцев... А результат? Где результат?» – думал писатель, сам удивляясь своему спокойному отрешенному состоянию, ибо впервые он размышлял о своей беспомощности без злобы и раздражения, и в этом было нечто новое, незнакомое, неизвестное... И оттого – страшное...

Он быстро поднялся и, зажигая лампу, с удивлением почувствовал, как дрожат его пальцы. Ему показалось, что кто-то стоит за его спиной. Он резко обернулся, но в комнате никого не было. Он вспомнил... Что вспомнил он? Он вспомнил, как точно так же дрожали у него пальцы, когда он неожиданно увидел прямо перед собой таинственного юношу... тогда, в тесной каюте теплохода, плывущего по Тихому океану.

Он вспомнил, как испуганно замер, обнаружив незваного гостя, – ведь перед сном он запер дверь на замок. Зачем пришелец явился среди ночи? Кто он? Что ему нужно? Что происходит?

Юноша тем временем сел, в упор глядя на писателя. У него было открытое лицо, ироничный мягкий взгляд, пухлые губы его таили добрую улыбку. «Не бойтесь меня», – сказал он. «Я не боюсь», – ответил писатель. Он уже пришел в себя, успокоился и теперь с интересом рассматривал незнакомца.

«Почему именно сейчас я вспомнил об этом? – подумал писатель. – Ведь это было так давно... так давно...»

Погода тогда стояла прекрасная, океан дышал мерно, спокойно.

Теплоход, миновав Панаму, шел в колумбийский порт Буэнавентуре. К вечеру небо затянула плотная сероватая дымка, вздыбились волны, шум океана нарастал. Писатель впервые в жизни видел, как неотвратимо копит морская стихия свою ярость: во всех этих мощных позывах природы было нечто от таинственного, божественного сотворения творческого чуда. Не обращая внимания на сильную качку, он стоял, крепко держась за поручни и вдыхая соленый, смешанный с брызгами воздух, но капитан скомандовал, чтобы пассажиры освободили палубу. Он пришел к себе, пытался сосредоточиться, подумать, но рев морской стихии комкал его мысли, читать и писать было невозможно, он лег раньше обычного и быстро заснул.

«Мне нравятся ваши рассказы», – сказал юноша, продолжая в упор глядеть на писателя. «Вы знаете меня?» – удивился тот. «Да, – ответил юноша, – Вы – Айдар Курманов». «Что вам нужно? – спросил писатель не без раздражения, что тотчас же заметил его настойчивый собеседник. – Слава – это бремя», – задумчиво произнес писатель. «Ненужное бремя», – добавил юноша, и писателю показалось, что в голосе его появился сарказм. «Разве у простого литератора может быть слава? – ответил Айдар. – Нас, прозаиков, слава отнюдь не балует. Слава в наше время у модных певцов, киноактеров, поэтов-песенников. И вообще к славе я отношусь... – Писатель задумался. – К славе я отношусь без подобострастия, а если хотите знать, то и с определенной долей сомнения. Слава! – Он как бы пробовал это слово на вкус, протяжно выговаривая каждую букву. – Славы жаждете вы, молодые, не так ли?»

Юноша немного помолчал, собираясь с мыслями, а потом ответил: «Вы, видимо, плохо знаете не только себя, но и своих читателей. Они о вас совсем другого мнения... И, самое важное, у вас уже есть свои последователи. У вас учится целая плеяда начинающих авторов...» «Мне жалко их, – быстро среагировал писатель. – Я терпеть не могу подражателей...» «Все когда-то кому-то подражали, – спокойно возразил юноша, Золя прошел школу Гонкуров, хотя Гонкуры и недолюбливали его, Мопассан считал себя учеником Флобера. Акутагава признавал, что он ученик Нацумэ Сосэки. В одном из своих интервью

вы тоже с гордостью называли имена своих учителей...» «Я начал говорить о подражателях, а не об учениках», – перебил его писатель. «В этом интервью, – продолжал юноша, не слушая возражений писателя, – в этом интервью вы говорили об Ауэзове, Акутагаве, Хемингуэе, Гоголе...» «Что ж, вы правы, – усмехнулся писатель. – Но в таком случае не забудьте Чехова, Тургенева, Толстого, Достоевского, Шолохова... Гомера, Данте, Шекспира, Сервантеса, Гете, я могу назвать в этом контексте десятки великих имен. Я считаю, что мысль о мире и о месте человека в мире – это и есть завещание, наказ многовековой культуры человечества... – Он закурил новую сигарету, и синий дым, после нескольких его жадных затяжек, низко стлался по каюте. – Вы сказали, что у меня учится, как вы выразились, целая «плеяда», верно? – Айдар испытующе посмотрел на юношу, и тот кивнул головой. – Тем самым вы допустили бестактность – учитель должен иметь большой талант, выдающийся ум и щедрое сердце, а у меня нет ни первого, ни второго, ни третьего. Да что там – мне просто-напросто не хватает стабильного, глубокого взгляда на жизнь, я с трудом могу объяснить, что такое жизнь. А если я не в силах осмыслить это самое главное предназначение литературы, могу ли я называться писателем?» – «Вы сурово осуждаете себя. Почему?» «Потому что понял: самое большое зло причиняет человечеству посредственность». Юноша еще раз заинтересованно посмотрел на писателя. «Теперь я спокоен за вас, даже больше – теперь я горжусь вами...» – волнуясь, сказал он. «Кто вы?» – спросил писатель, по-прежнему погруженный в свои размышления. «Всему свое время, когда-нибудь вы узнаете, а сейчас – не торопитесь не торопитесь...» С этими словами юноша бесшумно открыл иллюминатор и легко выбрался наружу. Писатель испуганно метнулся к окошку. Бушевал, грохотал океан, и это был самый настоящий шторм, обрушившийся на теплоход со всей силой своих девяти баллов, но таинственный юноша, мощно и величественно ступая по высоким волнам, все удалялся и удалялся в глубь темноты. Вот он ступил на гребень самой гигантской волны... обернулся к теплоходу... махнул рукой, и писателю показалось, что в глазах его недавнего собеседника блеснул неземной огонь. Губы юноши были сжаты, весь его облик выражал молодую силу и отвагу...

...Писатель проснулся. В первую секунду ему показалось, что идет дождь, но это соленые брызги хлестали в открытое окно, морской дьявол и не думал утихомириваться. Писатель вскочил и наглухо задраил иллюминатор. Страницы его рукописи были залиты водой, но он, не замечая этого, снова и снова вглядывался в морское пространство, силясь еще раз увидеть величественное шествие таинственного юноши по волнам. Но явь зачеркнула сон, его взору открылись тусклые прибрежные огни, свет маяка – теплоход подходил к берегам Колумбии. Явь стерла сон, но с тех пор он почти каждую ночь ожидал появления таинственного юноши, ему хотелось договорить, доспорить, он казнил себя за то, что раздражился, беседуя с юношей, – видимо, ночной гость потерял к нему интерес или, что еще хуже, обиделся на него, отвечавшего столь резко и безапелляционно. А юноша больше не приходил, он канул, исчез в предрассветной мгле океана и больше не посещал его, по-видимому оберегая душевный покой писателя и не желая ломать его устоявшихся представлений. У Айдара Курманова исчез сон, он почти перестал писать, мучительно размышляя о том, что нечто, великое и могущественное, коснулось его своим крылом, но что это, какая таинственная

сила потревожила его душу – не знал Айдар Курманов и оттого впал в меланхолию, стих, стал вялым, угрюмым, неразговорчивым.

Но недаром говорят, что время – лучший лекарь. Вскоре наваждение оставило его, и он вновь почувствовал в себе прежнюю силу и жажду жизни. Он понемногу начал работать, и теперь, когда ему плохо писалось или подступали к нему сомнения, он неизменно чувствовал благотворное незримое присутствие таинственного юноши, который, будто бы опекая его, выводил писателя на ту прямую, что он искал так долго, так трудно, с таким надрывом души. Может, это были его фантазии, но, по крайней мере, ему так казалось. И хоть ни умом, ни сердцем он не мог постигнуть эту таинственную силу, позволяющую ему жить и писать, дающую и отнимающую надежду, он все же был благодарен той ночи и тому юноше... А больше он ничего не знал...

Таинственный юноша. Встреча с ним была не последней. Однажды, лет через пять после того плавания, Айдар Курманов оказался на Кубе. Теперь он был признанным писателем, его любили читатели (это правда), недолго любили свои же собратья по перу (и это правда, ибо какой честный писатель застрахован от литературного свинства?), не совсем понимали критики (правда, он плохо вписывался в кассетную обойму малограмотных умников), его травила орда посредственностей в еженедельных газетах (и это правда, сущая правда – их грязные когти впивались в него, нанося кровотокающие раны), но он был крепким человеком, он терпел и работал, твердо зная, что литература жестока и требует от посвященного всех его сил, всех, без остатка. И он работал, он был вечным рабом своей работы и лишь мечтал хотя бы издали увидеть ту белоснежную вершину, где обитает Совершенство. Совершенство, до которого ему так далеко!..

Он понимал это, но понимал и другое. Когти врагов оставляют во впечатлительной душе не только раны, но и яд. Яд боли, которая отравляет жизнь... И тогда он пил, пил зло и остервенело... И был он все еще молод, хоть изведаль за это время многое – и преследования, и несправедливость, и хвалу, и славу, а вся его беда по-прежнему была в том, что характер и воля его не обладали твердостью стали. И еще он понимал, что прав был таинственный юноша, сказавший ему, что он находится на перепутье, что его взгляд на мир расплывчат и приблизителен. А он страшился приблизительности, так же, как страшился озлобленности... И поэтому изо всех сил старался крепче слиться с землей, что означало для него писать правду. Он еще острее почувствовал это здесь, на Кубе, когда несколько часов назад посетил дом-музей Хемингуэя, а потом шел по улице и твердил себе: «Не бойся, ты на правильном пути, не сворачивай со своего пути – и ты достигнешь цели».

В кафе он заказал рому и залпом влил в себя большой стакан желтой тягучей жидкости. Улица изнывала от зноя, но в помещении работал кондиционер, и бесшумные лопасти вентилятора навевали прохладу. От рома ему стало легче, и он подумал о Хемингуэе, когда-то он знал многие страницы его книг наизусть.

«Задача писателя неизменна. Сам он меняется, но задача его остается та же. Она всегда в том, чтобы писать правдиво и, поняв, в чем правда, выразить ее так, чтобы она вошла в сознание читателя частью его собственного опыта. Нет ничего труднее этого, и трудностью задачи можно объяснить, почему награда все равно, приходит ли она скоро или заставляет себя ждать, обычно очень велика...»

Тут писатель почувствовал, что кто-то слушает его, причем слушает очень внимательно, но не обернулся, не полюбопытствовал, не посмотрел, а продолжал бормотать, на память цитируя речь Хемингуэя на конгрессе американских писателей:

«...Если награда приходит скоро, это часто губит писателя. Если она заставляет себя ждать слишком долго, это очень часто озлобляет его. Иногда награда приходит лишь после смерти, и тогда ему уже все равно. Но именно потому, что писать правдивые, долговечные произведения так трудно, по-настоящему хороший писатель рано или поздно будет признан...»

Он пытался воспроизвести лишь те слова и предложения, которые цепко хранились в тайниках его памяти:

«Настоящий хороший писатель будет признан почти при всякой из существующих форм правления, которая для него терпима. Есть только одна политическая система, которая не может дать хороших писателей, и система эта – фашизм. Фашизм – ложь, и потому он обречен на литературное бесплодие...»

Здесь, на Кубе, он еще ближе, еще острее почувствовал всю мощь и значение одного из самых честных писателей двадцатого века и понял, почему его так любили простые люди – рыбаки, матросы, спортсмены, солдаты. Хемингуэй презирал трусость, предательство, эгоизм, всю эту гниль, что мешает человеку стать человеком. «Именно это и есть его лепта в копилку знаний о человеке, – подумал Айдар и тут же спросил себя: – А ты что внес в эту копилку? Что? Да пожалуй, и ничего, совсем ничего...» Он бил по своему самолюбию наотмашь, безжалостно, он затапывал себя в грязь, он жег свои книги, он видел, как разбивает кувалдой свою пишущую машинку. Он опять ненавидел себя. Он думал, что ему теперь остается только одно – долететь до родины и... покончить с собой. Он забыл, что только честный писатель может быть недоволен своими творениями, что только тому, кто строже всех спрашивает с себя самого, доступно провидение границ правды и глупости. Ему вдруг показалось, что его невидимый, но ощущаемый слушатель зашевелился, точно пытаясь что-то сказать, но он в этот момент, запрокинув голову, допивал остатки рома и не хотел поворачиваться к нему.

«Тот, кто не презирает успеха, не достоин его – так говорил один знаменитый литератор... – сказал невидимый слушатель, как бы прочитав его беспокойные мысли. – И этому литератору принадлежит не менее ценная мысль...»

«Выразителен не колорит и не фабула – выразительны люди», – подхватил Айдар его слова.

Он догадался, что с ним говорит таинственный юноша. Ему очень хотелось обернуться, но он так боялся, еще раз потеряв его, лишиться столь необходимой ему беседы. И они, не видя друг друга, но чувствуя обоюдную близость и необходимость духовного единения, продолжили свой странный разговор.

Юноша. Зря пьете. Это не поможет. Это еще никому не помогало.

Писатель. А мне поможет. Я устал, как скаковая лошадь. Мне нужен допинг.

Юноша. Нет, вы не успели устать. Пока еще вам неведома отвратительная сила усталости.

Писатель. Что тогда со мной? Скажи мне наконец, что со мной происходит?

Юноша. Вы ищете! Вы медленно, но верно двигаетесь вперед!

Писатель. Знаешь ли ты, мой друг, что самое трудное в этом мире – честно писать о человеке? Я думаю, что не двигаюсь, а буксую, топчусь на месте... От этого страдаю, от этого мучаюсь, пью, будто бы для облегчения души...

Юноша. Вы сильны, как никогда, в своей слабости. Потому что больше других рискуете, пытаясь найти новое слово, по-новому выразить чаяния нашего беспокойного мира, яростно борясь за справедливость. Не убивайтесь – вы выбрали для себя очень тяжелый, но единственно верный путь.

Писатель. Но если это правда, почему меня так больно бьют?.. Почему меня смешивают с грязью?

Юноша. Кто?..

Писатель. Вот, они...

Он швырнул на стол газеты. Бармен удивленно посмотрел на него.

«Не злись, не злись», – успокаивал себя писатель, чувствуя, как снова дрожат у него руки.

Юноша. Слабые всегда завистливы. Не обращайтесь на них внимания.

Писатель. Но почему, черт побери, эта воронья стая клюет меня, а я должен молчать и жалеть их? Я выступлю против этой серости, я сотру эту плесень, я уничтожу их! Я буду бороться с посредственностью ее же методами!..

Юноша. Тогда вы погубите свою душу!

Писатель. Зачем мне душа, если я дышу воздухом, отравленным вонью этих шакалов? Разве они люди? Они дворовые псы, готовые вцепиться в горло первому попавшемуся честному человеку. Почему я не могу сразиться с посредственностью?

Он с размаху ударил стаканом по стойке. Стакан разбился, по ладони писателя текла кровь, но он не обращал на это никакого внимания, даже не чувствовал боли.

«Потому что вы – движущаяся и живая мишень справедливости», – тихо сказал юноша. Голос его дошел до писателя откуда-то издалека, и, когда он обернулся, возле него никого не было...

«Все дерьмо!» – зло и отчаянно, чеканя каждую букву, произнес писатель.

«Est a mal?» – спросил бармен, который с любопытством наблюдал за ним.

«J'ai mal au coeur», – признался он.

«Repeter encore?» – спросил бармен.¹

«Нет. Хватит!» – сказал писатель и, расплатившись, вышел на знойную улицу.

Потом в отеле он никак не мог понять – говорил он с юношей или не говорил. И все, что с ним происходило, – во сне это было или наяву?.. Из порезанной ладони капала кровь, и он, все еще ничего не соображая, подставил саднящую ладонь под струю холодной воды...

Прошло еще пять лет. Теперь он понимал, что это были лучшие его годы, беспокойные, тревожные и оттого особенно дорогие для него, годы сомнений и побед, разочарования и борьбы..

А сейчас?.. Он чувствовал, как, незаметно усыпляя душу, обволакивает его сытое довольство и дремотная лень, хотя он так же, как всегда, часами корпел над белым листом бумаги, выводя буквы, составляя слова, фразы, абзацы. И все чаще

¹ «Вам плохо?» «На душе муторно!» «Повторить еще раз?»

приходило к нему ощущение близкой, неумолимо надвигающейся катастрофы, когда он, перечитывая написанный текст, ловил себя на выпренности, надуманности, приблизительности, а то и откровенной лжи.

Прикуривая, он услышал тяжелый стон матери и вышел в коридор. Дверь ее комнаты была распахнута настежь, мать надсадно кашляла.

«Мама...» – тихо прошептал он, но мать не отозвалась.

Постояв возле двери, он, мягко ступая, возвратился в кабинет, раздвинул шторы и открыл окно. Медленно, неотступно надвигался рассвет. Свежий, густой предутренний воздух заполнил комнату. Волосы Айдара теребил ветер. Айдару захотелось выйти на улицу, побродить вдоль сонных улиц, переулков, выйти на берег Иртыша. Он подумал – а вдруг в этот ранний час он снова встретит таинственного юношу, он ведь давно его не видел, и тот никак не дает знать о себе. Может, он смог бы доверить юноше тайну своей души, рассказать о своем страхе перед катастрофой, перед неизвестностью?

Но он остался дома. Он сел в кресло и решил перечитать начало романа, к которому приступил почти год назад, того самого романа, который застопорился на седьмой странице.

Семь страниц за целый год! Десятки вариантов продумал он, сотни страниц исчеркал заметками... Не то, не то! Он никак не мог выбрать единственно верный тон, нужный ритм, необходимую пластику. И это злило писателя, сбивало его с привычного настроения. Он понимал, что замахнулся на что-то значительное по мысли и слогу, в голове его крутились с трудом найденные яркие, выпуклые детали общей картины, но все это было столь дробным, столь трудно соединимым, что общий замысел его вещи терялся в тумане многословия. Какие-то мелодичные звуки плыли в тишине, но гармонии, музыки не было. У него явно не хватало сил, чтобы поддержать обжигающее пламя начальных строк романа, он слишком быстро остывал. Он знал только одно – писать так, как раньше, он теперь не может и не должен. Двигаться по кругу – губительно, повторяться – значит признать себя побежденным, надо идти вперед, надо менять стиль, взгляд, но это требует немислимых сил или божественной дерзости, ни того, ни другого не было у него, и он, чувствуя это, еще больше терзался, временами доводя себя почти до бешенства. Надо найти в себе силы, надо вновь почувствовать себя свободным, уверенным, иначе нет смысла жить. Невозможно писать на прежнем уровне, уж лучше замолчать, покончить с писательством, навсегда уйти в забвение...

Качаясь в кресле, он незаметно уснул.

«К тебе пришли, вставай», – услышал он голос жены.

«Кто?» – не размыкая сонных век, спросил писатель.

«Какой-то автор. Принес рукопись, хочет, чтоб ты посмотрел...» – «Скажи, что меня нет дома...» «Вставай, вставай, – теребила его жена. – Я уже сказала, что ты здесь...»

Он с трудом открыл глаза, медленно протер ладонями лицо. «Ладно, пусть он ждет, а я пока приму душ. Свари мне, пожалуйста, кофе...» «Хорошо, милый», – ответила жена, и он удивился – давно не слышно было в ее голосе такой теплоты и ласки, наверное, с той самой поры, когда он окончательно погряз в меланхолии, а его настроение постепенно передалось домашним. Ужасно, но он ничего не мог поделать с собой!

Он зашел в ванную. Прохладная вода освежила его, он ощутил легкость, забыл, что его ждет ранний докучливый гость, и почувствовал, что к нему возвращается то былое состояние духа, когда писалось ему легко и счастливо. Тогда каждый день, проведенный над белым листком бумаги, приносил ему радость и удовлетворение.

«Да, были и у меня в жизни счастливые мгновения, но время уходит, и друзья уходят», – подумал он, и ему опять стало худо. Вот так и менялось в последнее время его настроение, кочуя от ликующей радости до печальной безысходности.

Открывая дверь, он почувствовал, что в кабинете накурено. Он кивнул незнакомцу, открыл окно и снова устроился в кресле.

«Ну, давайте ваш труд», – сказал он.

Гость протянул рукопись. «Я хочу, чтоб вы прочитали ее при мне», – попросил он, и писатель поморщился от его наивной беспардонности. «Простите, но у меня ведь тоже есть свои дела. Оставьте ваш рассказ, я посмотрю, вы заходите денька через три-четыре, а еще лучше – через неделю...»

В комнату вошла жена писателя и поставила перед мужчинами две чашки кофе. «Я уйду, Айдар, на работу опаздываю», – сказала она.

«До вечера», – буркнул писатель. «До вечера!» – Жена чмокнула его в щеку.

«Это не рассказ, – сказал незнакомец, когда женщина вышла, – Это – отрывок из романа.» «Что?.. – не на шутку рассердился писатель. – Вы хотите, чтобы я все бросил и сел читать ваш роман?.. Да с какой, спрашивается, стати? Разве я ваш штатный литературный консультант?.. Если вам нужна консультация, обратитесь в областное отделение Союза писателей, а я – кустарь-одиночка. Я – один. Понимаете? Один... Мне бы со своими заботами справиться... – Он кивнул в сторону белых листов и еще больше распалился. – Нет, избаловали мы вас, молодых. Построже с вас спрашивать надо... Ведь сколько нынче развелось жаждущих попасть в Союз писателей... – Он развел руками, – Иной еще слово «лауреат» не научился писать, а туда же, в писатели... Лауреаты, знаю я таких... Я, конечно, не о вас говорю, с вами я пока не знаком, вот прочту рукопись, тогда видно будет, что вы за птица... – Он быстро сообразил, что оговорился, согласившись прочитать рукопись, но его несло, и он никак не мог остановиться. – А эти критики напридумывают проблем на свою же голову, а потом гарцуют, гордые оттого, что кого-то на путь истинный наставили. А я скажу – молодых-то можно учить, но если ты такой смелый и честный, то попробуй написать свои умные штучки про какого-нибудь аксакала. Ведь не осмелишься, твоя честность, как флюгер, крутится, а нос за тысячу километров неприятности чует! Молодой писатель! Расхвалят его, вознесут, он и доволен! Именно так калечат людей. Иной парень мог бы счастливо жить и быть полезным человеком для общества, но нет – вскружат ему голову, и пошел он тянуть свою непутевую жизнь по кабакам и говорильням... – Писатель закурил, закашлялся и снова продолжал свою речь, ибо с ним явно что-то произошло. Обычно молчаливый, он сегодня разошелся и никак не мог остановиться. – А надо действовать по-другому, надо беречь человека, направлять его способности в нужную сторону, от этого выйдет двойная польза – и ему, и обществу, а мы? Мы все подбадриваем этих честолюбивых ребят да еще лжем при этом, вот что самое скверное! Молодой писатель! – Он нажал на это слово. – Что это вообще значит «молодой писатель»? Ведь для настоящего писателя нет возрастного ценза. Настоящий писатель рожден под

счастливой звездой. А талант – это как деньги. «Или они есть, или их нет», – так говаривал один старый поэт...»

Он потушил сигарету и вдруг задумался.

«Простите, я, наверное, обидел вас, – тихо сказал он. – Что-то со мной происходит. Злюсь, раздражаюсь... Нехорошо! Пейте кофе, а то остыл, наверное?...» «Я не хочу кофе, – сказал незнакомец. – И вы не обидели меня, но я прошу вас – пожалуйста, прочитайте, здесь всего семь страниц...» «Ну, хорошо, – сдался писатель, – Я прочитаю. В конце концов, семь страниц – это действительно немного... Я прочитаю, вы покурите пока...» «Я не курю. Курение, вино, женщины – ничемная роскошь для художника», – сказал юноша, отрицательно покачав головой, и писатель невольно оторвался от чтения, ибо эти слова показались ему странно знакомыми, вернее, даже не слова, а та интонация, с которой они были произнесены. «Где-то я его уже видел», – мельком подумал писатель.

Молчали в тишине. Незнакомец рассматривал писателя: высокий лоб, ранние залысины, мягкие карие глаза, усталое лицо, работает он много, но бесполезно работает, злится, раздражается, а музы любят спокойствие и уединение, суэта им противопоказана...

«Вам не понравилось?» – спросил незнакомец, когда писатель отложил рукопись. «Да, – честно ответил писатель. – Хотя я и знаю, что судить о романе по семи первым страницам – преступление. Ведь роман – это целый мир, это напластование событий, калейдоскоп лиц, ситуаций, синтез мысли и слова...» «Мне тоже не нравится», – перебил его юноша, и писателю почудился в его словах какой-то подвох, к тому же и прочитанный текст внезапно показался мучительно знакомым.

«Надо бы попроще себя вести, более раскованно, а то красуюсь перед этим парнем, как в цирке», – недовольно подумал он и сказал, откашлявшись:

«Я хочу дать вам совет. Сам я начинал отнюдь не с романов...» «Вы прекрасно начинали, – снова перебил его юноша. – Я не случайно пришел к вам. Вы – мой любимый писатель...» «Да перестаньте, в конце-то концов! – рассердился писатель. – Не про меня сейчас разговор, о себе я это так, к слову, я о другом хотел сказать...»

Он вновь задумался. Ему хотелось более человечно, безо всяких этих заумных штучек объяснить с юношей, и он кивнул в сторону своего письменного стола: «Там у меня тоже есть кое-что, чему место в мусорной корзине, ан нет – храню эту макулатуру как зеницу ока. А почему? Да потому, что нет уверенности. Начну заново, вдруг напишу еще хуже? Вот где состав преступления, вот кто настоящий преступник, это я, ваш «любимый» писатель! Не кажется ли вам, что и меня в свое время обманул какой-нибудь сердобольный дядя, переоценив мои ученические опусы?» «Да нет же, нет!» – горячо воскликнул незнакомец. «А я скажу – да! – поддразнивал его писатель. – Ибо «да» всегда побеждало «нет», от сотворения мира и до сегодняшнего дня. Сердобольный дядя сказал «да», я обрадовался и тоже сказал «да», а нужно было кричать: «нет», «нет»! Но у него на это не хватило смелости, а у меня – честности. Вот так-то...» – «Но ведь он был вашим учителем. Он называл вас своей надеждой...» «Да, называл, но имел ли он право быть учителем, а я – его учеником? Вот в чем вопрос и вот что происходит с нами, когда нет соответствия между действительностью и той ролью, которую нам изначально навязали. По-моему, это предательство, и в данном случае пре-

дателем являюсь я, согласившийся играть эту роль... – Писатель зачем-то встал и начал ходить по кабинету. – А что касается вашего отрывка из романа, то не отчаивайтесь, пока отложите его в сторону, потом вернитесь к нему. Может, что-нибудь и получится...» «Нет, – хитро улыбнувшись, сказал незнакомец – Это ваша работа, и никто другой ее не сделает». «Что за бред? Почему я должен работать за вас?» – с раздражением воскликнул писатель. «Потому что это отрывок из твоего романа», – сказал незнакомец. «Из моего?.. – удивленный писатель, даже не обратив внимания на то, что гость вдруг перешел на «ты», с тревогой глядел на него. – Боже мой, неужели это ты?!» – вдруг воскликнул он, узнав наконец в незнакомце таинственного юношу. «Это я», – просто ответил юноша. «Ты возмужал, сразу и не признать тебя», – сказал писатель. «Ты тоже изменился...» «Сейчас ты скажешь, что я возомнил о себе Бог весть что! Что я заигрался, вернее – играю плохо, вполсилы, творю вполсилы, думаю, люблю, живу вполсилы... Что святое служение требует полной отдачи, ведь так?» Писатель смотрел на юношу, но тот молчал. «Скажи, а почему ты так долго не появлялся?» – спросил Айдар. «Потому что у тебя все было хорошо», – коротко ответил юноша. «А сейчас, по-твоему, плохо, да?» – осторожно спросил писатель. «Плохо», – безжалостно отрубил юноша.

Они замолчали.

«Вот ты собираешь предметы народного творчества...»

«Причем здесь это?» – не понял писатель. «А при том, что эти безымянные художники-мастера питали и питают профессиональное искусство. Теперь ты меня, конечно же, понял?» «Да, понял, – медленно сказал писатель. – Ты хочешь сказать, что я теряю почву под ногами?» – «Нет, не почву... Ты утрачиваешь реальность, а мифологизация – это не только приобретение, но и потеря. Ты снова на перепутье и снова страдаешь. Миф – утешение, а реальность – это жизнь, это служение во имя человека...» «Ты, как всегда, изъясняешься высокопарно и непонятно, – рассердился писатель. – Что, в конце концов, ты хочешь сказать?» – «Я хочу сказать, что тебе дарован острый глаз, чистое сердце. Береги их!» – «Да кто ты такой? Как тебя зовут?» – зло крикнул писатель. Ему хотелось добавить еще что-нибудь обидное, грубое, но юноша был спокоен.

«Я – *мечта*. Твоя мечта. Я – та цель, которой ты жаждал достичь. Прощай! Больше мы не встретимся с тобой...» – «Почему не встретимся? Как мне жить без тебя?» – воскликнул писатель, но юноша уже исчезал, таял в воздухе. «Не убьешь свою совесть, будешь жить, и тогда мы обязательно встретимся...» Последние слова его доносились откуда-то издалека и повторялись глухим, протяжным эхом...

– О, бедный, неужели он всю ночь проспал в этом кресле, не раздеваясь? – прошептала мать Айдара Курманова. Ее коляска застряла в узкой двери кабинета, и она тихонько позвала сына: – Айдар, айналайын, вставай... Я уж и копе тебе сварила... Бедный ты мой... Ты мучаешься, так страдаешь. И зачем тебе все это?..

Она молча заплакала. Айдар проснулся и с удивлением посмотрел на плачущую мать.

– Что-нибудь случилось, апа?

– Нет, нет, ничего... – Мать поспешно утерла слезы. – Я вот копе тебе принесла.

– Ко мне никто не приходил?

– Никто. Рано еще... Жанар недавно на работу ушла... Айдар встал и подошел к матери.

– Не надо плакать, апа! И не надо ни о чем тревожиться... Он обнял мать и прижался к ней, как тогда, в далеком милом детстве. Он вспомнил все. Он вспомнил свой аул и ту сладкую дрожь, которая прошла по его телу, когда он, испугавшись чего-то во сне, прибежал к ней босой, в одной рубашке, и она утешала его, нежно дула в затылок, шептала ему какие-то одной ей известные слова. И сейчас, лаская старую больную мать, он чувствовал, что ее материнское тепло, любовь вновь проникают в его душу горячей согревающей волной. Он вдруг явственно ощутил в себе ту силу, которая вырвет его из этого обыденного, серого осеннего дня, силу, которая не даст ему погибнуть, которая позовет его в жизнь, в мир, в открытую всем ветрам родную степь Чингистау.

Поставив чашку на стол, он вздрогнул. Перед ним лежало начало его романа. Семь страниц, разорванных на мелкие клочки.

– Что-нибудь еще хочешь, сынок? – донесся до него из кухни голос матери.

– Жить, – сказал писатель.

КОНЕЦ

вывел Айдар Курманов и надолго задержался над листом бумаги, как бы желая спросить самого себя, все ли, что мог, сказал он, когда, просыпаясь от ночных голосов и не имея сил заснуть, садился за письменный стол; и мы вправе задать вопрос: что же за книгу он написал?

Цикл рассказов? Роман? Эскиз романа? «Ночные голоса» – наверное, и название можно было подыскать более оригинальное, не в этом суть, а в том, что он пытался поведать о состоянии души человека и в час отчаяния, и в минуту радости;

осталось множество историй и людских судеб, известных Айдару Курманову, о которых он пока еще не успел или не смог рассказать;

но мы надеемся, что на этом не оборвется нить его общения с читателем, ибо на этих страницах он воспроизвел звуки тех голосов, которые особенно властно потревожили его тишину.

